

10.335
1966

საქართველოს
ლიტერატურა

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

10335

5

30

1966



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



ЛИТЕРАТУРНАЯ Грузия

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ
ГОД ИЗДАНИЯ ДЕСЯТЫИ

СОДЕРЖАНИЕ

- ТЕИМУРАЗ ДЖАНГУЛАШВИЛИ. Легенда моря и земли. Стихи. Перевод с грузинского С. Куняева 3
- ЧАБУА АМИРЭДЖИБИ. Глаз Шивы. Повесть. Перевод с грузинского М. Бирюковой 4
- ПАМЯТИ СИМОНА ЧИКОВАНИ. Георгий Маргвелашвили. Огромность утраты. Станислав Куняев. «Исполненный ясности и благородства». Шота Нишnianидзе. Симону Чиковани. Михаил Квливидзе. Памяти старшего друга 15
- СИМОН ЧИКОВАНИ.** Третья приписка. Мы в море заплыли. Набери мне ежевики в мой кувшин... Песня рыбакова. Буйволы. Стихи. Переводы с грузинского С. Куняева и В. Бокова 20
- КОЛАУ НАДИРАДЗЕ. Скрибин — этюд второй. Ветер. Стихи. Переводы с грузинского Б. Брика и П. Петренко 22
- АЛЕКСАНДР ЭВАНОИДЗЕ. Рассказ о войне 23
- МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ. Нелетная погода. Следы на снегу. Вампиры. Опять всю ночь бессонницей мучаюсь... Стихи. Переводы с грузинского Ю. Левитанского, В. Ахмадулиной, Р. Сефа, Г. Куренева 27
- ЛИДИЯ КОГОШВИЛИ. Зарисовки с природы 29
- МЕДЕЯ КАХИДЗЕ. Небеса твои и рощи. Все равно мне было... Стихи. Перевод с грузинского Е. Николаевской 31

См. на обороте

79.490.

5

МАЙ

1966





АНДРЕ МОРУА. Три письма. Новелла. Перевод с французского К. Енгояна

Д. А. ДРАГУНСКИЙ. Сердце Кутузова 37

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

Г. ЛОМТАТИДЗЕ. Академик И. А. Джавахишвили 47

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ВЛАДИМИР ХОМУТОВ. Бережная память ветеранов 58

КОНСТАНТИНЭ ГАМСАХУРДИА. Данте Алигьери 60

ОЧЕРКИ

ВЛАДИМИР ИМЕДАШВИЛИ. День за днем . . . 85

800 ЛЕТ РУСТАВЕЛИ

ШАЛВА НУЦУБИДЗЕ. Миросозерцание Руставели 90

КЕТЕВАН БАГРАТИШВИЛИ. Неизвестный портрет Руставели 93

Хроника 26, 46, 57

На 2-й стр. обложки — «Портрет Шота Руставели» Н. Пирсоманишвили (см. статью К. Багратишвили на стр. 93).
На 3-й стр.—«Пастораль» Д. Хуцишвили. С выставки работ художников-самоучек и народных умельцев Грузии.

Редактор МИХАИЛ МРЕВЛИШВИЛИ

Редакционная коллегия:

И. АБАШИДЗЕ, Б. ГАСС (ответственный секретарь),
Э. ЕЛИГУЛАШВИЛИ (заместитель редактора), М. ЗЛАТКИН,
А. КУЗЬМИЧЕВ, В. МАЧАВАРИАНИ, Р. ТВАРАДЗЕ, Э. ФЕЙГИН,
Н. ЧАВЧАВАДЗЕ, Д. ШЕНГЕЛАЯ.

Адрес редакции: Тбилиси, 8. Улица Ленина, 5, телефон 9-06-59.

ЛЕГЕНДА МОРЯ И ЗЕМЛИ

Двадцать лет спустя после войны со дна Балтийского моря была поднята подводная лодка. В память о погибших моряках над их могилой в Таллине стоит монумент, окруженный молодыми кипарисами.

Спускается в море багровое солнце на дно, где мерцает подобно кинжалу подводная лодка; где влагой и солью изъедено жесткое тело металла.

Медуз трепыханье, мельканье актиний, огромное море и отзвук победы... Огромное море... Одиннадцать жизней и две нерастроченных в схватке торпеды.

Неужто не встанет герой, пораженный в неравном бою на широком просторе?.. Руками войны глубоко погруженный, лежит, колыхаясь, аквариум в море.

К нему подплывают медузы и крабы, с опаской глядят в потемневшие стекла, зеленые травы повисли у трапа, где сталь почернела и бронза поблекла.

Волна за волной навевают прохладу, глаза покрываются вечною тенью, но жаждут торпеды прильнуть к аппарату, а мертвые жаждут вернуться на землю...

Но вот почему не зовется землей дно моря — там тоже и камни и травы, и море — как небо почти голубое, и бродят по морю, как облаки, тралы.

Здесь жизнь существует, но слишком другая, холодные водоросли нам не милы, и мы колыбели на дне не стругаем, не сеем, не пашем, не роем могилы.

И лошадь не скачет на этом просторе, лоза не растет, не дымится дорога... Колебнется черный аквариум в море, рукою войны погруженный глубоко.

Пески зашумели, вода загудела, и вот, раздвигая забвенье и брэнность, исчезнувшей лодки холодное тело из черных глубин поднялось на поверхность.

Торпеды просрочили время атаки и канули в море, как видно, навеки; земля подхватила героев останки, простерла над ними зеленые ветви.

В родимую землю легли исполины... Седое надгробье увито венками. Шумят над могилою их кипарисы и пишут легенду своими ветвями.

Перевод с грузинского С. Куняева

Чабуа АМИРЭДЖИБИ

Глаз Шивы

ПОВЕСТЬ

Перевод с грузинского М. Брюкковой

В нашем доме было много замков, и мама носила в кармане большую связку ключей. Не знаю — на что они были ей нужны! Ведь запирался только буфет, где хранили варенья, да шкаф, куда мама складывала купленные для Кетино вещи. Варенья прятали от меня, все остальное — от Кетино. Я не помню случая, чтобы из ее шкафа что-нибудь извлекалось, зато складывали туда — дай боже. Месяца не пройдет, бывало, чтобы мама не купила чего-нибудь нового и не добавила к уже припрятанному. Все, что лежало на трех широких полках шкафа, мама называла приданым Кетино, и мы знали, что всякие там девчоночки штуки Кетино получит только тогда, когда выйдет замуж. Раньше — и думать нечего. Сколько раз, бывало, Кетино тяжело вздыхала при виде краешка розового платья. Платьев, правда, было несколько, но Кетино вздыхала именно о розовом. Я смеялся — у девчонки в восемнадцать лет всего два стареньких платьица, а в двадцать три их у нее будет целых восемь. Не лучше бы, четыре — сейчас, четыре — потом.

А когда Кетино, ни у кого не спросившись, вышла-таки за Гиглу и в доме поднялась кутерьма, отец сказал маме:

— Собирай, собирай тряпки. С ума они свели девчонку. Только и думала, когда их ей отдадут.

По-моему, отец прав. Шутка ли, заполучить сразу столько красивых вещей. Как тут было не торопиться!

Одним словом, в доме не было ничего противнее этого шкафа. Кетино называла его драконьей глоткой. Я не называл его драконьей глоткой. Я его вообще никак не называл. Но зато, когда листал «Витязя в тигровой шкуре» и доходил до картинки, где нарисовано, как Тинатин раздаривает золото, и написано: «Что не отдал — то пропало, что ты отдал — то твое», — сразу вспоминал наш прожорливый шкаф. Мне казалось, что Тинатин извлекает добро точно из такого шкафа.

Я знал, что к летним каникулам мне купят новые сандалии. Это было давно решено, и я не сомневался — купят, конечно. Не переходить же мне, право, в пятый класс без новой обуви. Но что отец принесет сандалии уже в апреле, а мама упрячет их в шкаф Кетино, — этого я никак не ожидал. Прятать — так уж прятала бы с вареньями. Так нет же! Взяли и бросили их в драконью глотку. А из нее, — я это знал наверняка, — до замужества Кетино ничего не достанут, и сандалии мне не отдадут, это как пить дать! Я был удручен, и в голову лезли всякие мысли, и даже такие отчаянные: а что, если Кетино совсем не выйдет замуж, — что тогда? Целую неделю я терзался, ходил сам не свой...



Все, однако, обернулось не так, как я думал. Сандалии мне дали. Дали на другой день после того, как нас распустили на каникулы. В воскресенье.

Мы завтракали. Кетино сказала, что видела во сне: я стоял, якобы, посреди широкого поля, за пазухой у меня сидел заяц, а к ногам были привязаны мельничные жернова. Я отпускал зайца, бежал за ним с жерновами на ногах, догонял, ловил, снова отпускал, опять догонял, ловил, — прямо как в сказке.

Отец чуть заметно улыбнулся, попросил меня принести отметки.

Я сбегал, принес.

— Тройки, — сказал отец, — по рисованию, и по арифметике тоже... И ради этого я покупал тебе новые сандалии.

— У него есть тройки? Так нужно было купить поношенные сандалии! — воскликнула Кетино.

— Где это видано, покупать поношенные? — заступилась за меня бабушка.

— Дадим ему сандалии? — спросил отец у мамы.

— Все дети приносят одни пятерки. А с нашими что приключилось, бог их знает? Если за такие отметки давать новые сандалии... — У меня вмиг пропала надежда получить сандалии.

Мама говорила, а я думал о том, что от драконьей глотки ничего путного не жди. Спрятали бы с вареньями — еще туда-сюда. А из нее ничего не дождешься, пока Кетино...

Но мама встала, отперла шкаф, принесла сандалии и передала мне их. Я нагнулся, чтобы переобуться. Скинуть старые и надеть новые сандалии оказалось не так-то просто. Что-то мне мешало. В конце концов я понял-таки, в чем дело: в одной руке у меня был хлеб с маслом, а в другой — кусок сыру, они-то и мешали. Я бросил их на стол, задел стакан и разлил горячий чай. Все всполошились. Я, однако, делал свое дело: вылил чай из сандалий, надел их и победоносно оглядел всех — отца, маму, бабушку, Кетино.

Все завершилось тем, что мне, «большому» и «умному» мальчику, уже закончившему четырехлетку, разрешили пойти к моей тетушке Маро одному, совсем одному, в новых сандалиях, показать отметки.

Один, сам!..

Я первый раз уходил из дому совсем один... С разрешения, конечно! А так — тайком — я отлучался и раньше.

Меня снабдили двумя медными погнутыми пятаками и обширными, многословными наставлениями о том, как вести себя на улице и в трамвае. Мама проводила меня до угла и целых три раза напомнила, чтобы я берег сандалии, не то, мол, отец мне покажет.

Сандалии скрипели и были такие красивые, что я глаз не мог от них отвести.

Моя тетушка Маро жила на самой окраине города, в крохотном, старом дедовском домике. Жила совсем одна, и я не понимал и, признаться, и сейчас не понимаю, отчего она не вышла замуж. Почти каждое воскресенье тетушка забирала меня к себе, хотя мое пребывание доставляло ей немало хлопот и страхов. Я знал всех мальчишек из ее околотка, мы всегда вместе играли. И сейчас я появился, когда они уже собрались на улице и сговаривались начать какую-то игру.

— Ачико пришел! — крикнул один из мальчишек, Чико, и все стремглав бросились ко мне. Увидели мои новые сандалии. Каждый по разу наступил на них в знак восхищения и в качестве поздравления, и сразу выпачкали их. Ничего не поделаешь — так уже заведено. Я терпел и даже улыбался. Только Хуха не наступил на мои новые сандалии.

Хуха — старший брат Чико, он перешел уже в седьмой класс, и у него одни пятерки.

Я взбежал к тетушке, положил перед ней на стол отметки, потом показал — вот, мол, мои новые сандалии, и опрометью бросился обратно. Не спросил даже, нравятся ей они или нет. Тетушка что-то крикнула мне вдогонку, но мне было не до нее...

Мы долго спорили, во что играть — в разбойников, в прятки или в кругового осла. Хуха сказал:

— Лучше возьмем штурмом дом Фидо, свергнем царя и перебьем буржуев!..

Я не знал, что в Тбилиси буржуи есть еще где-либо, кроме Эриванской площади. Там в самом деле стоял высоченный буржуй. Буржуя звали Чемберленом. На голове у него красовался высокий цилиндр, а над цилиндром навис молот. Молот сжимала рука рабочего. Мы, мальчишки, влезали прямо в Чемберлена, тянули какие-то веревки, молот поднимался и с грохотом падал на цилиндр. Голова Чемберлена уходила в плечи, глаза выкатывались — чуть не вылезали из орбит... Мы жили близко от площади, я несколько раз выбирался со двора и безжалостно избивал огромного Чемберлена.

— Мы пойдем, сделаем царя и вернемся. А вы пока раздобудьте ружья, — сказал Хуха.

Мы бросились искать ружья. Мириан нашел первым и сразу запел:

Раз, два, три,
Пионеры мы,
Мы буржуев не боимся.
Пойдем на штыки.

Хуха, Чико и еще пятеро мальчишек скрылись в доме.

Дом Фидо был покосившийся, полуразвалившийся, темный от копоти, пустой. Фидо не жил в нем. Но земельный участок обрабатывал и с ранней весны до поздней осени неусыпно стерег сад и огород. Когда мы начинали игру, Фидо не было поблизости. Потому мы и решились, не то ни за что бы не начали!

Мы набрали много «ружей». Вернулся Хуха. Все уже было готово. Можно было приступать к штурму.

Хуха внимательно оглядел всех, остановил взгляд на мне и приказал:

- Скидывай сандалии!
- Почему? Не хочу!
- Видишь, мы все босые?!..
- Ну, так что же? Не хочу!
- Не хочешь — не будем с тобой играть. Разувайся!

Я не мог понять, чего хочет от меня Хуха, но сандалии все же скинул. Скинул потому, во-первых, что все были босые. А во-вторых, потому, что Хуха был сильнее всех, и если уж он сказал, значит, лучше повиноваться.

Я связал сандалии шнурками и повесил их на колышек. Так даже лучше, подумал я, целее будут. Мама столько раз повторяла: береги, мол, их, не то отец тебе покажет.

Хуха велел нам собирать комья земли, а Сика, Гогиа и Фарне бросать ими, как только он подает знак, в колючую проволочную изгородь. Остальные мальчишки под предводительством Чико залегли вдоль изгороди, готовые к атаке.

Хуха завопил истошным голосом, и мальчишки ринулись к изгороди с комьями земли. Хуха кричал так громко и заразительно, что и мы невольно присоединились к нему. Мы кричали «ура». Хуха выкрики-

вал еще какие-то слова, но ни мы, ни, пожалуй, он сам не понимали их смысла. А вообще-то они очень шли к случаю — что правда, то правда, ничего не скажешь!

— Давайте кричать тише, не то нас услышат и побьют, — шепнул я лежащему рядом со мной Чико.

— Кто? — пытливо спросил меня испуганный Чико.

— Как кто? Хозяин дома!

— Вот глупец, в этом доме сейчас никто не живет! — рассмеялся Чико и вздохнул с явным облегчением.

Я и сам знал, что Фидо ушел и, может быть, не покажется ни сегодня, ни три дня еще. Но ведь возможно, что появится с минуты на минуту? Никто другой, конечно, не придет. Старший сын Фидо вряд ли найдет время, чтобы забрести сюда: у него тяжба с родственниками о комнате в половине собственного дома в Нахаловке, и он не выходит из судов. Дочь Фидо пела когда-то в ресторане цыганские романсы, а потом спилась, отец и сам не знает, где она обретается. Младший сын был дяконом. Да случился грех, стащил жертвенного каплуна. Его расстригли, и сейчас он служит сторожем в каком-то монастыре. Все это я слышал от моей тетушки, и Хуха тоже рассказывал похожее.

Я немного успокоился, задумался, а потом спросил Чико:

— Зачем же нам тогда брать дом приступом? Войдем в него через сад, и все тут!

— Нет, надо взять дом приступом, свергнуть царя и перебить буржуев. — Чико, видно, и сам нашел свои доводы не очень убедительными и прибавил сердито: — Ну, такое правило!

Мы подбежали ближе к проволочной изгороди. Чико вооружился палкой, все последовали его примеру. Хуха издал громкий и протяжный воинственный клич, мы завопили не менее оглушительно, скользнули, как ящерицы, под колючую изгородь и, сметая все на своем пути, ворвались в дом...

В дальнем углу большой полутемной комнаты стоял возведенный из кирпичей трон со спинкой и с ручками. На нем лежала огромная колода. Мы бросились к трону, швыряя в него всем, что попадалось под руку, — камнями, кирпичами, комьями земли, дубинками, и в мгновение ока сровняли его с землей. Потом подскочили к колоде, долженствующей изображать царя, подхватили ее и выкинули через окно в огород. Под окном был уклон. Колода покатилась, приминая рассаду, и остановилась внизу, у изгороди. Пожелай мы снова приволочь «царя» в дом, ни за что не смогли бы.

Как раз в это время Хуха позвали. Ему совсем не хотелось уходить, но зов повторился. Делать было нечего. Он убежал и крикнул уже с улицы:

— Играйте в индейцев, а я скоро приду!

Но Хуха так и не возвратился.

Дом Фидо был уже взят. Царь — свергнут. Теперь настал черед буржуев. Мы незамедлительно перебили и их: по стенам комнаты жались какая-то рухлядь — старые стулья, развалившийся шкаф, заржавленная керосинка, тахта с худой войлочной подстилкой. И пяти минут не потребовалось, чтобы разбить керосинку, изорвать в клочья войлок, обратить в обломки мебель. Все было перевернуто вверх дном. Мириан затынул: «Раз, два, три...», и мы отметили беспримерную победу воинственной песней.

Мы пели так долго, что почти все охрипли и дошли до полного изнеможения. Кто-то предложил подпалить дом Фидо, благо вокруг было много щепок. Но ни у кого не нашлось спичек, идти за ними поленились, и дом Фидо чудом спасся от сожжения.

Мы перевели дух, огляделись... И — замерли: перед нами Фидо.

— Ух ты, — открыл рот пораженный Фидо.

Мы замерли, словно одеревенели. Все мы, кроме Чико. Чико был невозмутим.

Фидо схватил дубинку. Что произошло потом, я не помню. Не помню до того момента, когда оглянулся. А оглянувшись, обнаружил, что ни дома Фидо, ни тетушкиного, ни даже околотка не видно. Добираться обратно пришлось долго, я даже порядком утомился.

Подойти близко к дому Фидо я не решился.

Фидо стоял в саду, ругался и потрясал дубинкой.

Чико с нижней улицы целился в него рогаткой и кричал:

— Фидо, Фидо! Продай осла, купи барабан! Фидо-о-о!

Я собрался с духом и подошел поближе.

Камешки из рогатки Чико попадали в Фидо, и он вынужден был ретироваться в дом. Но браниться продолжал и оттуда. Я расхрабрился и тоже стал бросать в него камнями. Фидо выскочил из дома, вздевая к небу руки со сжатыми кулаками и выкрикивая:

— Ох, чтоб им всем... тем, кто вместо кирки да лопаты всучил вам в руки книгу и перо!

Потом Фидо снял с колышка мои сандалии, сунул их под мышку и ушел. Сунул и ушел, словно бы сам их повесил.

Чико бежал за ним и кричал:

— Фидо, Фидо! Продай осла, купи барабан! Фидо-о-о!

Продай осла... Что бы это могло значить?

Но мне было не до этого... Фидо ушел и унес мои сандалии.

Мои новенькие скрипучие сандалии...

Узнай об этом отец, он бы показал мне.

Я побежал за Фидо. Несколько раз порывался даже подойти, попросить прощения, умолить вернуть сандалии, но перед глазами моими вставал разоренный дом, и я не решался. Пока я раздумывал, Фидо скрылся из виду. С тех пор я никогда больше его не видел.

Когда я очнулся, увидел, что стою у какого-то сада. Собственно, это был даже не сад — несколько деревьев, два-три подстриженных куста и крохотный цветник. Под деревом стоял ящик, рядом с ним — старик. Вокруг толпились дети. Один мальчишка, прикинув к ящику, глядел в стеклянный глазок. Старик вкладывал в ящик картинки, что-то рассказывал, и мальчишки слушали затаив дыхание.

Я подошел поближе.

— А это — чудесный город, с минеральными источниками и фонтанами... А вот эта девица — потаскушка! — сказал старик и вытащил картинку.

Я удивился, что старик говорит такие слова, и мне очень захотелось поглядеть на девицу. Так захотелось, что я невольно подался вперед, — хоть не через глазок, а так, мельком, взглянуть на картинку, на город, где бьют минеральные источники и фонтаны и есть еще эта девчонка. Но старик почему-то вытащил картинку очень быстро, разочаровав не меньше меня заинтересованного зрителя — мальчишку, моего ровесника, который глядел в глазок.

Я попытался протиснуться поближе, старик заметил, отогнал меня рукой, приговаривая: «Кыш, кыш», словно я был курицей.

— Вот опять город, — сказал старик, вкладывая новую картинку, — в нем живут тысячи разных народов, и все живут весело и беззаботно.

Видишь, как они смеются? Это потому, что им — весело. У них был царь. Они свергли своего царя и теперь смеются.

Эта картинка тоже, наверное, была очень занятная, но мне хотелось посмотреть ту девчонку. У меня оставался всего один пятак, а на ящике было написано, что лицезреть чудные города и их обитателей сквозь стеклянный глазок разрешается за два, и я не мог подавить в себе сожаления, что послушался маму и купил билет в трамвае.

— А это — наседка с цыплятами. Ты гляди, гляди, какая прелесть! Обо всех картинках, какие у меня есть, я могу рассказать. Только об этой наседке и цыплятах — не могу. И никто не смог бы, — так они прекрасны. Ну-ка дай, и я взгляну!

Старик оттолкнул мальчишку и сам глянул в глазок.

Глянул и разомлел.

Не знаю, сколько времени глядел он. Мальчишка стоял и переминался с ноги на ногу, и бедняга совсем потерял терпение; и когда старик оторвался наконец от стеклышка, я почему-то вздохнул с облегчением.

— О! — сказал старик и поднял глаза к небу.

И я тоже взглянул на небо. И как будто бы ничего особенного: так — голубое небо и обрывки белых облаков, и все, и больше ничего; но старик так долго вглядывался в лазурь, что мальчишке, бедняге, надоела чудо-наседка с цыплятами, и он оторвался от глазка и ждал, когда старик снова примется за свое дело.

Но по лицу старика разливалось блаженство, и он никуда не спешил и глядел на небо.

Мальчишка, бедняга, сник, подумал: должно быть, картинки кончились и больше ничего не покажут. Мне тоже так подумалось. Но старик подошел к ящику и сунул в него новую картинку.

— А вот это — индийский бог Шива, — затянул старик. — Видишь, сколько у него рук? Ты на глаз погляди, на глаз. Вот, на лбу у него — глаз...

Я был окончательно побежден, искушение взяло верх, я не мог не посмотреть столько интересных вещей!

Дерзкая мысль мелькнула и потрясла меня, и когда мальчишка кончил разглядывать все шесть картинок, я сказал старику:

— Дядя! Я дам тебе пятак, покажи мне три картинки!

— Три? — Старик задумался.

— Шесть картинок — два пятака. У меня — один пятак. Покажи мне на него три картинки!

— Какие ты хочешь поглядеть?

— Покажи ту девчонку, еще наседку с цыплятами, и трехглазого бога — тоже!

— И наседку показать? — восторженно спросил старик. — О, это такая картинка! Никто и за рубль тебе ее не покажет, но так уж и быть — гляди!

Старик взял у меня пятак, и я жадно приник к стеклышку.

Он показал мне сначала чудесный город и ту девчонку. Но я не поверил ему. Девчонка стояла под пальмой и держала в руках маленькую сумочку, и ничего такого, ничего плохого в ней не было.

— А ты откуда знаешь, что... что она такая... девчонка? — спросил я старика.

— Раз говорю — значит знаю. Не веришь? Забирай свой пятак и ступай отсюда! — обиделся старик, вытащил картинку и сунул наседку.

Наседка и в самом деле была прекрасна, и прав был старик — в ней такое было, чего словами не выразить, ни за что не выразить. Я долго глядел на наседку, и старик не торопил меня. А потом подбежал какой-

го мальчишка, сунул старику гривенник, и старик опустил в ящик третью картинку.

— Зачем ему столько рук, дядя? — спросил я об удивительном изображении.

— Как сказать! Для разных, верно, надобностей. Что ни увидит в мире, вмещается... на все простирает руки. О, человек должен быть таким!

— Во все вмещивается? — Старик говорил о боге так, словно он был каким-то выскочкой, но мне казалось, что Шива был не таким. И я не знал, каким он был.

— Дядя! У него в самом деле есть глаз на лбу? — спросил я снова.

— Разве ты не видишь? В самом деле...

— А зачем он ему?

— Как зачем? А ну-ка зажмури один глаз и погляди на картинку. Ведь она как будто другая?

Я зажмурил глаз.

Да, она была другая, и казалось — была меньше.

— Другая! — подтвердил я.

— О-о! А сейчас зажмури другой глаз!

Я зажмурил другой глаз.

— А сейчас совсем другая, да?

Я вгляделся. И картинка вправду казалась немного другой.

— Совсем другая! — сказал я.

— Так что же выходит? Один глаз видит одно, другой — другое.

А когда смотришь обоими — совсем иное. Где же правда?

Где же?

Я рассмеялся.

— О-о! Это — индийский бог Шива. Видишь, сколько у него рук? Сколько в мире дел — на все у него их хватает. Бог на то и бог, чтобы везде протирать руку правды. Будь у него два глаза — как понять ему, где правда? Этот глаз на лбу — глаз правды. Шива глядит на все двумя глазами, а потом смотрит на виденное — третьим и простирает руку правды. Вот и все. Ступай теперь.

Я долго думал о руках и о глазах Шивы, и я все хорошо понял: встретясь я Шиве, — он поглядит на меня сперва одним глазом, потом другим, потом разом обоими, а потом зажмурит их, и поглядит тем... что на лбу... но не на меня, а на то, что видел одним, потом другим глазом, потом обоими, и... узнает, куда Фидо унес мои сандалии.

Воспоминание о сандалиях повлекло за собой другое — об отце... Мысль о возвращении домой босым привела меня в уныние, и, печальный, я побрел вниз по спуску.

Я не знал, куда идти, но я знал — надо идти и надо что-то делать.

Я остановился на перекрестке, раздумывая, куда бы повернуть — направо или налево. Мне было решительно все равно — куда, но я все же раздумывал.

Рядом со мной стояли двое мужчин, громко говорили о чем-то и отчаянно жестикулировали. Я не слушал, о чем они говорят, мне было неинтересно, и мне было не до них; я думал о своем, и передо мною возникало грозное лицо отца... Дальше этого мне ничего даже не мерещилось, в голове у меня гудело, к глазам тяжело подступали слезы, и мне хотелось крикнуть: «Папочка, прости, я больше не буду! Честное слово, больше не буду!»

Один из этих мужчин, худощавый, стал разворачивать сверток. И в мгновение ока я забыл об отце. Я глядел, как замороженный, на извлеченные из свертка сандалии... глядел не отрываясь. Какие красивые! Точно такие...

— Что там творится! Из рук рвут!

— Где это?

Владелец сандалий назвал магазин. Но я совсем не разобрал, где он находится. Что из того, что я стоял рядом? Разговор достигал моего слуха точно так же, как по утрам слова отца, уходящего на работу, когда я еще сплю и уже не сплю...

— Что это ты рот разинул, парень? — насмешливо крикнул мне владелец сандалий.

Я был глух к его тону, насмешка словно не коснулась меня. Я был одержим одним порывом:

— Где ты их взял, дядя?

Мужчина громко рассмеялся и сказал:

— Внизу!

Где это внизу? И в какую сторону нужно идти?

— Там, — сказал он, заметив, должно быть, мое недоумение, и вытянул руку.

В тот же миг я сорвался с места и помчался в сторону, куда он мне указывал. Я обегал множество магазинов, но ни в одном из них сандалий не выдавали. Магазин с сандалиями должен быть светлым и красивым, очень красивым и светлым, — так мне казалось. А эти все не такие...

Я отчаялся почти, но вдруг заметил, — из магазина вышла женщина, в руках у нее были сандалии, она их кому-то показывала и, захлебываясь, говорила что-то. Она была вся в поту, и кашемировое платье на ней совсем измялось.

Я шмыгнул мимо женщины к магазину. В дверях толпилось так много народу, что я еле пролез.

В магазине было темно, словно уже наступил вечер и забыли зажечь свет. Я таращил глаза, еще не привыкнув к полумраку.

В глубине магазина, у прилавка, теснился народ. Я бросился к прилавку.

Передо мной высилась широкая, плотная стена из людей. Стена качалась и толкалась. Над ней стоял глухой, нестройный гул. Время от времени он поднимался до крика и откатывался, как вспененная волна. Кто-то, двигая локтями, пробивал тесное потное кольцо, выбирался на свободу, вздыхал с облегчением, удовлетворенно оглядывал покупку и с гордым видом шествовал к выходу.

Преодолеть живую стену, пробиться через нее, — и я могу оказаться у прилавка, прямо рядом с сандалиями!

Но как, как это сделать?

Я стоял, озираясь вокруг и думал. Вдруг почувствовал на себе взгляд и оглянулся: какой-то высокий дяденька пристально смотрел на меня.

Я смутился, поглядел на свои босые ноги.

Высокий улыбнулся мне.

Я тоже улыбнулся.

Откуда-то послышался собачий визг.

Я огляделся — белая кудрявая собачонка стояла на задних лапках, удивленно глядела на прикинувших к прилавку людей и время от времени повизгивала. Она была с кошку, не больше, но глазенки у нее были злые и держалась она независимо.

Я удивился: вот так собачонка! Сидит, сидит себе смирно, и вдруг как взвизгнет, потом умолкнет, уставится на толпу и снова взвизгнет. Потом сообразил: это хозяин собаки втесался в толпу, там его обижают, толкают, и собака его поддерживает.



— Эгей, погляди-ка! — сказал, проходя мимо меня, какой-то дядька своему спутнику. — Все есть — ошейник, поводок! Хоть сейчас уводи! Дядька остановился, поглядывая на собаку, словно раздумывая, вести ее или нет.

— Оставь! Хозяин, наверное, здесь где-нибудь. Охота тебе связываться! — ответил спутник.

Я удивился. Зачем им уводить собаку? Она ведь никому не мешает! Сидит себе и повизгивает, тихонечко так повизгивает, кроме меня, никто, наверное, и не слышит...

Высокий дяденька, который улыбался мне, сделал несколько шагов к толпе у прилавка.

Я двинулся в том же направлении.

Высокий стоял, теребил короткие, красиво подстриженные усики, чуть покачивался на широко расставленных ногах — справа налево, слева направо — и сосредоточенно оглядывал волнующуюся толпу.

Высокий мне очень понравился. У него было доброе лицо, такое, словно он все время улыбается, посмеивается над чем-то — но не зло, а весело, тепло и открыто.

Он опять поглядел на меня, улыбнулся и подмигнул: ну и дела, мол, творятся! Некоторое время постоял молча, остановив взгляд на моих босых ногах, а потом снова повернулся к толпе.

Я понял, что он задумал: он решил пробиться сквозь плотную стену. Мне очень хотелось, чтобы ему удалось это. Но его словно покинула решимость. Те двое, что хотели увести собаку, не задумывались и не теряли времени даром. Они, словно заранее сговорившись, юркнули в толпу, ловко протискивались в ней и достигли почти середины. А мой высокий дяденька все стоял и колебался и не двигался с места.

Я огорчился даже — те уже вон где, а он переминается с ноги на ногу и только уныло озирает толпу.

В толпе произошло какое-то волнение — усилился шум. Раздался сердитый бас. Словно в ответ на него отчаянно завизжала собачонка. Владелец баса скандалил с кем-то и кричал все самозабвеннее. От этого и собачонка больше нервничала. Я сообразил: владелец баса — хозяин собаки.

Я все думал о том, как бы пробиться к прилавку, но ничего не мог придумать — вроде моего высокого дяденьки. Самое трудное — пробиться, а сандалий там видимо-невидимо.

Владелец баса совсем взъярился, и собака с визга переключилась на откровенный лай. Владелец баса сам взвизгнул так громко, словно ему прищемило палец дверью. Собачонка не выдержала, опрометью кинулась на живую стену, юркнула в нее и в мгновение ока исчезла из глаз, словно ее и не было, — только мелькнул кончик хвоста.

Меня осенило: «Может быть, и мне так удастся?», и я почему-то взглянул на высокого дяденьку.

Он улыбался: тоже, видно, заметил, как собачонка исчезла в толпе. Потом поглядел на меня своими ясными глазами и словно подбодрил, придал мне решимости.

Я подбежал к толпе, опустился на колени и стал протискиваться, нащупывая, где пошире.

Упорства мне было не занимать, и я пролез довольно далеко. Чем дальше, однако, я продвигался, тем было труднее. Лес ног становился все гуще, плотнее, сердитее. Встречались совсем упрямые ноги. Два раза я получил по изрядному пинку. Кто-то наступил мне на руку. Я вскрикнул, и наступившая нога поднялась. Наверное, это просто так совпало. Не потому ведь, в самом деле, убрали ногу, что я вскрикнул.

Я отпрянул назад и оглянулся, чтобы посмотреть, на сколько удалось мне протиснуться.

Высокий дяденька, нагнувшись, глядел на меня, от души смеялся и манил пальцем.

Было ясно — он зовет меня: вернись, мол. Я пополз обратно. Он извлек из кармана деньги и помахал ими.

Будь это кто-нибудь другой, а не он, я бы ни за что не вернулся. Но это был он, и я выбрался. Вернее, высунул голову и протянул руку.

— Возьми мне сорок второй номер, — сказал он и протянул две пятерки. — Да будь осторожен, как бы тебе не отдавили пальцы.

— Нет, здесь хорошо, совсем легко! — ответил я.

Он захохотал.

Я тоже рассмеялся.

Откровенно говоря, мне было совсем не до смеху! Я повернулся и снова пустился в путь. Вождеденный прилавок, казалось, совсем близко, но вплотную протиснуться к нему было не так-то просто. И, как и в первый раз, чем дальше — тем становилось труднее. Местами ноги стояли так плотно, что и руку некуда было просунуть, не то что протиснуться всем телом.

Надо мной, на высоте человеческого роста, бушевал рев. А мне казалось, что я — как в кино: облаченный в тяжелый скафандр, пробираюсь по коридорам затонувшего корабля, а наверху, надо мной, перекатываются огромные валы. Бас над моей головой заревел так оглушительно, что я подумал — вот-вот хлынет ливень. Но мне было все равно не страшно — здесь ему меня не достать. И вообще здесь неплохо. Только немножко темновато, и воздух тяжеловат... «Столько ног, и все обутые!», — подумал я.

А потом мне пришло в голову вот что: когда я вырасту и окажусь в толпе за сандалиями — большой, плечистый и сильный, — стукну ли того, кто будет путаться у меня под ногами?

«Нет, не стукну! — решил я. — Жалко. Ему будет больно!»

Мне понравилось мое решение, и я забыл обо всем остальном и ткнулся головой в прилавок.

Сейчас нужно было во что бы то ни стало приподняться. Я нашел щелку между двумя мужчинами и клином просунул в нее.

Передо мной, как поле, расстился широкий прилавок.

Я обомлел от восторга, и у меня разыгралось воображение, и я уже представлял себе, как беру сандалии, тридцать пятый размер, и тут же, у прилавка, надеваю их...

Окончание следует



Огромность утраты

Неизмеримую огромность этой утраты нам суждено будет испытать чем дальше, тем сильнее и горше... Когда потекут чередами дни, в которых уже не будет Симона, когда не раздастся телефонный звонок, не состоится встреча, не прозвучит его голос, не завяжется беседа, не хлынет живой поток его мыслей, его остроумия, его метких, а то и едких замечаний, не разматается долгожданный, и всегда неожиданный, клубок умозаключений, воспоминаний, ассоциаций, парадоксов, прогнозов, оценок, лишь тогда мы поймем до конца, каково источника духовной энергии мы лишились и какой, воистину, «свильник разума погас, какое сердце биться перестало»...

Каждый лишний день, прожитый Симоном Чиковани, сулил нам радость новых открытий и свершений, ибо для него жить — значило мыслить, творить, открывать, излучать свет поэзии, разума и добра. Ведь подумать только — за последние два трагических года своей жизни, пораженный тяжелейшим недугом, полностью потерявший зрение, он ни на миг не ослаблял духовного и творческого напряжения, создав одно из вершинных творений своей поэзии — «Гянджинскую тетрадь», затронув и наиболее драматическую в своей поэзии лирическую ноту в прекрасном цикле аджарских стихов, выступив с воспоминаниями, статьями и литературными портретами, посвященными Лермонтову и Шевченко, Есенину и Рылъскому, Тычине и Бажану, с глубоко принципиальными гражданскими и творческими декларациями в своих ответах на недавние анкеты «Вопросов литературы» и «Литературной газеты», успев одарить напутственным словом вступающего в поэзию молодого тбилисского поэта Александра Цыбулевского, находясь в курсе всего значительного и интересного в литературе и искусстве Грузии, России, Украины, Запада и Востока, особо пристально следя за работой своих младших горячо любимых друзей — Отара Чхеидзе и Реваса Джаргадзе, Анны Каладзе и Арчила Сулакаури, Нодара Думбадзе и Отара Чиладзе. Все, созданное ими, читалось взволнованно и с пристрастием, с любовью и верой. Потеряв за последние годы друзей, с которыми была связана его жизнь в поэзии — Бориса Пастернака и Николая Заболоцкого, он с еще более ревностной любовью следил за работой больших испытанных мастеров советской поэзии как в Грузии, так и за ее пределами, например, Анны Ахматовой, последние стихи которой, а также ее переводы из Юлиана Тувима, стали для него источником высочайшего наслаждения. Ее «Бег времени», двухтомник Леонида Мартынова, вышедшие один за другим в серии «Библиотека поэта» (в редовете которой он состоял), одиотомники Пастернака, Цветаевой и Заболоцкого, последние книги Антокольского и Межирова, поэмы и стихи Ахмадулиной и Отара Чиладзе, Евтушенко, Вознесенского, Ивана Драча — вот чем жил и дышал все эти месяцы Симон Чиковани.

Я был у него в последнюю в его жизни пятницу. Принес с собой письмо из Ленинграда, в котором подробно описывались похороны Анны Андреевны Ахматовой. Уже прошло больше месяца после ее смерти, но рана еще была свежа. Симон все собирался отправить ей свою новую книжку с надписью, как-то особенно точно и емко передающей его отношение к ней. Но это не удалось. А рядом стоял недавно подаренный Симоу проигрыватель и среди пластинок — «Анна Ахматова читает свои стихи». В гостях у Симона был старинный его друг Серго Кляшвили. На стене висел пейзаж, чуть ли не накануне подаренный Кириллом Зданевичем — им уже могли восторгаться только Марика Николаевна и мы. Кирилл Зданевич, оказывается, читал Симоу главу из своих мемуаров — о встречах с ним. Теперь — задним числом — все выглядит так, как будто подводились итоги, ставились точки, сводились концы. Друг детства и соратник по литературным боям, давно не бывавший у Симона — Давид Гачечиладзе зачастил к нему и в одно из последних своих посещений, по-юношески волнуясь, прочитал отрывок из своего перевода «Илиады» и был безгранично счастлив, получив восторженное одобрение своим принципиальным поэтическим решениям и находкам и в первую очередь ритмической структуре перевода. Я давно не видел Симона таким оживленным. А еще раньше, почувствовав себя лучше, Симон решил пойти на генеральную репетицию «Короля Лира» у руставелевцев, и слышали бы вы, какой точности и глубины оценку он дал этому

спектаклю, как он волновался и нервничал, когда слухи о премьере не совпали с его впечатлением, и как был рад и даже горд, когда рассказы друзей о последующих спектаклях вновь восстановили гармонию между его точкой зрения и действительным звучанием этого прекрасного и большого спектакля. А в эту пятницу, когда я последний раз беседовал с ним, он ослаб, лежал, но был полон жизни, радовался Ленинской премии, полученной Закариадзе, сокрушался, что премию не получил Мартынов, взволнованно говорил о последних дискуссиях литературоведов и историков и настойчиво просил меня от его и моего имени написать письма в Ленинград и Москву — Владимиру Николаевичу Орлову и Ираклию Андроникову, которые оставались для него до конца в числе самых близких и дорогих людей, придирчиво допрашивал меня — не забыл ли я послать поздравительные телеграммы Белле Ахмадулиной и Юрию Васильеву в день их рождения, просветленно говорил о Толстом, «Войну и мир» которого вместе с Марикой Николаевной в эти дни перечитывал, увлеченно рассуждал о поразившем его сходстве в строе и движении мысли Толстого и Пастернака, тут же зафиксировал для нашей будущей работы заглавия нескольких главок своих воспоминаний о Борисе Пастернаке — Пастернак и Толстой, Пастернак и Ахматова, Пастернак и Цветаева, Пастернак и Заболоцкий, Пастернак и Твардовский, — чуть ли не договариваясь точно о дне, когда он будет мне все это диктовать. Вспомнил и о письме из редакции «Недели» с просьбой написать что-нибудь о Ладо Гудиашвили и выразил свое настойчивое желание обязательно написать о Ладо, одобрительно улыбувшись тут же приведенным мною словам нашего друга Шуры Цыбулевского о том, что чистота, прозрачность и поэтичность позднего Гудиашвили перекликаются с такими же качествами «Земного простора» и «Когда разгуляется»...

Все это было в пятницу. В субботу в 4 часа дня он еще оживленно беседовал с Серго Закариадзе, который спешил к московскому поезду, не подозревая, что в день приезда же придется ему вылететь обратно, а в четверть девятого началась беда, последняя в его жизни, дотянувшаяся до воскресной ночи. Пол-одиннадцатого настало бессмертие Симона Чиковани.

Я думаю о Симоне и стараюсь найти одно-единственное слово или понятие, наиболее полно передающее главное его качество как человека и художника (а человек и художник были в нем нерасторжимы, едины). И мне кажется, я его нашел. Оно может прозвучать слишком общо, но лишь оно способно охватить все движения души и таланта Симона Чиковани, все его физическое, духовное и нравственное существо. Это — жизнелюбие. Причем, любовь к жизни предельно, драматически напряженная, включающая в себя страх смерти и небытия, готовая хвататься за соломинку, цепляться за мох, но не в мелком бытовом смысле этих выражений, а в их философском, что ли, наполнении. Сильнее всего это чувство было выражено им в потрясающем стихотворении «Сказанное во время бомбежки»:

...Познавший мудрость, сведущий в искусствах,
в тот день я крикнул: — О, Земля моя!
Даруй мне тень! Пошли хоть малый кустик —
простить меня и защитить меня...
...Я человек! И драгоценен пламень
в душе моей! Но нет, я не хочу
сиять заметно! Я — алгетский камень!
О, господи, задуй во мне свечу!..
И отдалился грохот равномерный,
и куст дышал. И я дышал под ним.
Немилосердный ангел современный
побрезговал ничтожеством моим.
...Заплакал я, всему живому близкий,
вдыхающий, трепещущий, живой.
О высота моей молитвы низкой,
я подтверждаю бедный лепет твой.
...Не за свое молился долговечье
в тот год, в тот час, в той темной тишине —
за чье-то золотое, человечье,
случайно обитавшее во мне.

А вот еще одна мольба, обращенная к неумолимой старости, которая, как в гениальном стихотворении любимого поэта, требовала от него полной гибели всерьез:

О, старость, приговор твой отмени
и детского не обмани доверья.

Не трогай палисадники мои,
кизилковые не побей деревья.
Позволь, я закатаю рукава.
От молодости я изнемогаю —
пока живу, пока растет трава,
пока люблю, пока стихи слагаю.

Изнеможение от молодости, от чуда жизни, от творчества и чудотворства, вечное предвкушение начала, возникающего даже, когда перо, казалось, выпадает уже из рук, это и есть тот талант жизни, который на поверку и оказывается талантом поэтическим. Об этом подчеркнуто говорил сам Симон Чиковани в обенх своих предсмертных творческих декларациях: «Талант жизни — в сущности это синоним писательского таланта». И: «Поэзия всегда является чудесным результатом непростой, напряженной драматической встречи поэта и мира, искрой, высеченной при их столкновении, независимо от того, гармония или конфликт связывают поэта с миром. Лишь равнодушие неспособно высечь эту искру, т. е. неспособно к зачатию стиха».

Встреча Симона Чиковани с миром высекала несгорающее пламя поэзии — высокой и благородной, сильной и здоровой духом, молодой и человеческой. И нет сил поверить, что нет уже рядом этого неутомимого, беспокойного, одержимого жизнью, «изнемогающего от молодости» человека, что не сбудется для близких друзей Симона Чиковани сказочное видение, однажды осенившее его северного друга:

Явиться утром в чистый север сада,
в глубокий день зимы и снегопада,
когда душа свободна и проста,
снегов успокоителен избыток,
и пресной льдинки маленький напиток
так развлекает и смешит уста.

Все нужное тебе — в тебе самом, —
подумать и увидеть, что Симон
идет один к заснеженной ограде.
О нет, зимой мой ум не так умен,
чтобы поверить и спросить: Симон,
как это может быть при снегопаде?

И разве ты не вовсе одинаков
с твоей землею, где, навек заплакав
от нежности, все плачет тень моя,
где над Курой, в объятый богом Мцхете,
в садах зимы берут фиалки дети,
их называя именем «иа»?

И коль ты здесь, кому теперь видна
пустая площадь в три больших окна
и цирка детский круг кому заметен?
О, дома твоего беспечный храм,
прилив вина и лепета к губам
и пение, что следует за этим!

Меж тем все просто: рядом то и это,
и в наше время от зимы до лета
полгода жизни, лета два часа.
И приникаю я лицом к Симону
все тем же летом, тою же зимою,
когда цветам и снегу нет числа.

Пусть же все само собой идет:
сам прилетел по небу самолет,
сам самовар нам чай нальет в стаканы.
Не будем звать, но сам придет сосед
для добрых восклицаний и бесед,
и голос сам заговорит стихами.

Я говорю себе: твой гость с тобою,
любуйся его милой художью,
возьми себе, не отпускай домой.

79.490.



Но уж звонит во мне звонок испуга:
опять нам долго не видать друг друга
в честь разницы меж летом и зимой.

Простились, ничего не говоря.
Я предалась заботам января,
вздыхнув во сне легко и сокровенно.
И снова я тоскую поутру.
И в сад иду и веточку беру,
и на снегу пишу я: Сакартвело.

Пусть мой плач закончится этим, произнесенным Беллой Ахмадулиной словом: Сакартвело — самым бесценным для Симона Чиковани.

Георгий Маргвелашвили

«ИСПОЛНЕННЫМ ЯСНОСТИ И БЛАГОРОДСТВА...»

В декабре прошлого года я бродил по осеннему Тбилиси и, вспоминая стихи своих грузинских друзей, вдруг услышал, что чаще всего бормочу про себя строки Симона Чиковани: «Метехская крепость парит над Курдой», — и действительно, крепость, освещенная закатным солнцем, — парила.

Ты будешь всегда утешеньем в судьбе,
и благословляю я каждую встречу
в Исани твоем и твоём Дидубе,
где душу свою запалил я, как свечку...

Я понял, что мыслю о Грузии словами Симона, что его стихи дали форму моему чувству, что эта связь стала частью меня...

А на другой день в гостях у поэта мы спорили, поднимали тосты, читали стихи и радовались тому, что хозяин рядом с нами, что его речь по-прежнему немногословна, точна и прекрасна, что хлеб и вино в его доме сдобрены приправой мудрости и жизнелюбия.

Потом я переводил стихи Чиковани, и во время этой работы меня не покидало ощущение того, что он обладал безмерной властью мгновенно останавливать, осаживать на дыбы живое, мятущееся, мчащееся слово и что именно эта, на мигновение укрощенная стихия, и составляет тайную основу его творчества. Но как это не просто! Какой во всем этом великий риск!

Он ушел, чтобы стать в ряд выдающихся поэтов Грузии XX века. Он равный в семье Важа и Тициана, Галактиона и Паоло.

С ним было и легко, и трудно. Легко потому, что он понимал все. И трудно потому, что все время приходилось в разговоре с ним поддерживать высокую температуру души, а для него это состояние было обычным.

Сознание ясности цели и величия долга не покидало его. И когда мы, «младое и незнакомое» племя русских поэтов, стали появляться в Грузии — путь наш не мог пройти мимо его дома. Он понимал и любил нас, потому что традиция дружбы русского и грузинского слова для него была живой и необходимой. И глядя на него, мы тоже все глубже с каждым разом ощущали свою ответственность и причастность к нашему общему делу.

Он знал, что жизнь коротка, что искусство вечно, не жалел себя и не боялся жизни.

Он так писал о стихе, который стремится достигнуть высочайших скал Фазиса:

Его не упрячешь в уюты теплиц,
он жизнью замешан, а это не просто,
он сложен, как сложные линии лиц,
исполненных ясности и благородства.

Таким, исполненным ясности и благородства лицом, запомнилось мне навсегда лицо Симона Чиковани.

Станислав Куняев

1

Как будто в природу окно,
я книгу твою приоткрою,
пройду по странице тропой,
хозяин и гость — все одно.

В зеленые строчки нырну,
в таинственный твой виноградник,
и душу свою опьяню,
и стану трезвее, чем в праздник.

Ты радугу взял, словно ветвь
какого-то райского древа,
она опускается с неба,
покинув небесную твердь.

Мерещится мне Алазань,
Одишская роща, Орпири,
туманная горная грань,
а ты — то охотник, то Мцъри.

Ты держишь чудесный тростник,
он полон неясного чуда,
но звук постепенно возник,
а я и не понял — откуда.

Тростник — как волшебный бинокль:
в нем видно грядущее наше,
он звуками полон, как чаша,
он — посох для дальних дорог...

2

...Ты коснулся сверкающих ягод,
и у них появились крыла,

и упала весенняя влага,
и сухая трава ожила.
И всего на одно лишь мгновение
книгу жизни открыл для меня,
указал мне на переплетенные
черной ночи и белого дня.
Восставала в плоти Серафита,
полустертая фреска цвела,
и огонь, опаливший Давида,
чуть не сжег наши души дотла.

3

Кладезь мысли и таинств, скажи,
что мне делать с высокою жаждой?
Утоли откровеньем души,
прикоснися десницею влажной.

Словно посох, чужое перо
захромавшему в трудной дороге...
Так поставь на тростинке тавро
и спаси от соблазна в итоге.

Так приди и в подарок прими
все, что мной безраздельно владело,
и пера острием заклеими,
чтоб от радости вздрогнуло тело.

Пусть твой выдох звучит на устах,
пусть завоют суставы желанно,
пусть в семи заповедных местах
у свирели откроются раны.

Шота Нишнинанидзе

Перевод с грузинского С. Куняева

ПАМЯТИ СТАРШЕГО ДРУГА

Мне очень тяжело писать о Симоне Чиковани как о неживом.
Боль утраты застилает слезами глаза.

Я не нахожу слов, достойных его мужества и таланта.

«Художник, подобно дереву, — растет, пока живет», — писал Симон Иванович в своей автобиографии. Он доказал это всей своей жизнью поэта, гражданина, мыслителя, предсмертными стихами о Николозе Бараташвили, лучшим, что сделано в нашей поэзии за последние годы...

Многое уже написано о поэте. Статьи, некрологи, воспоминания о жизни и творчестве, о долгих месяцах неравного единоборства с тяжелым недугом, о том, как слепой человек буквально накануне смерти нашел в себе силы пойти в театр, чтобы посмотреть новую работу своего товарища по искусству... Болезнь погасила свет в его глазах, но не сумела погасить живого интереса к жизни. Он жил для людей и, перестав жить, остался среди нас, как Высокий Пример гражданской чести и совести, самоотверженного служения своему делу.

Мое поколение многим, очень многим обязано Симону Ивановичу Чиковани. Мы перед ним — в неоплатном долгу.

Спасибо ему за это.

Михаил Квливидзе

СИМОН ЧИКОВАНИ

ТРЕТЬЯ ПРИПИСКА

Когда на рассвете я рифмы искал —
мой край благодарный сверкал новизною,
и стих отраженьем ее заблестал,
и я умилился внезапной слезою.

Сомнения мои далеко-далеко,
я предан своим убеждениям и узам.
Но тайное чувство найти нелегко,
такое, что было б неведомо музам.

Я вновь начинаю с печалью писать,
гадаю, когда бы и чем вдохновиться.
Мечта поднимает свои паруса
и в поисках новых просторов стремится.

Лишь зрелые души слагают стихи,
лишь зрелое сердце искрится огнем.
О, скалы Фазиса, вы так высоки,
но стих вас достигнет в стремленье равнином!

Его не упрячешь в уюты теплиц,
он жизнью замешан, а это не просто,
он сложен, как сложные линии лиц,
исполненных ясности и благородства.

А если у голоса нота одна,
то правда стирается от повторенья.
Поэзия! Ты в новизну влюблена,
ты вечно нова со времен сотворенья!

МЫ В МОРЕ ЗАПЛЫЛИ

Опасною ночью мы в море ушли,
блестящее небо светилось во взорах.
Но что же мне делать вдали от земли —
тобою дышать или думать о звездах?

О как бы ты вздрогнула, вдруг увидав
наш катер, окутанный тьмой и волнами.
Я воин, а ты виноградник, я прав,
оставив тебя далеко за горами.

Но как ты решилась меня отпустить,
неужто не дрогнуло сердце от горя?
Рискует, но все же пытается плыть
наш катер — смельчак, обезумевший в море.

Но с робостью, видимо, я не знаком,
рука не дрожит при крутых поворотах,
готов я вплотную схватиться с врагом
на всех девяти безмяннанных дорогах.

Пусть мина ждет нас на одной из дорог,
я на берег выброшен буду волною.

Ты к берегу выйди на желтый песок
и щедрые слезы пролей надо мною.

Нет, я не исчезну, не кану на дно,
не рухну, как буйвол мыча бессловесно, —
лишь сердце останется рассечено
и две половины вернет тебе бездна.

Родимому краю одну подари,
согрей на груди половину другую.
О сердце мое, неустанно гори,
тебя утешая в минуту такую!

А катер без усталости крутит винтом,
в туманах скрываются волн караваны.
Ты так далеко за высоким хребтом...
Мечтать о тебе ли, смотреть ли в туманы?

Не страшно по морю пустынному плыть.
От близости пуль мое сердце не плачет.
Упрямой волне меня в море не смьть,
любовь и надежда в тумане маячат.

Перевод с грузинского С. Куныева

* * *

Набери мне ежевики в мой кувшин,
Но только знай,
Он не зря стоит в сторонке.
У кувшина стенки тонки,
Хрупок он — не поломай!

Набери воды холодной в мой кувшин,
Но не забудь,

Мне еще идти далеко,
Береги его стоико,
Чтобы в целости вернуть!

Вся ты светишься, сияешь,
Как немаять снег вершин,
У ручья с ручьем играешь,
Наполняя мой кувшин!

ПЕСНЯ РЫБОЛОВА

Мое гнездо меня гнетет.
Любимая его покинула.
Сеть рыболовная зовет:
— Скорей, скорей в реке топи меня!

Иду. Вода ревет в ночи,
Колотится в утес неистово.
Пасутся лунные лучи,
Разгуливает форель пятнистая

Уверенно закинул сеть,
Тяну, надеюсь и загадываю,
И, как в махорочный кисет,
В мотню намокшую заглядываю.

А там форель. Она точь-в-точь
Как серебро, еще прохладнее.
Любовь моя темна, как ночь,
А ревность — даже непрогляднее!

Форель стройна, совсем, как ты,
Но вот она из рук выскальзывает,
На миг один из темноты
Мне, как насмешку, хвост показывает!

Безмолвны руки, сеть мокра,
Лишился я того, что дорого,
А ночь из лунного шатра
Меня окатывает холодом!

БУЙВОЛЫ

Буйволы, как изваянья,
Буйволы, как валуны.
Щурятся и изнывают
Посреди речной волны.

Снятся им стога, дороги,
Скрип, тяжелая арба,
Снятся беды и тревоги.
Потому что жизнь — борьба.

Вспоминают, как, бывало,
Богатырским батогом
Наводнение их сбивало,
Бычий рев стоял кругом

Но на это не в обиде
Буйволы-богатыри,
Снятся роши Чалалиди,
Снятся россыпи зари.

Лист от обморока замер,
В ульях сон медовых сот.
Тишина свое сказанье
В бычьей памяти несет.

Буйволы в речной прохладе
Млеют, нежатся, жуют.
Находившиеся за день,
Ноги стонут и поют!

Перевод с грузинского В. Борова

Колау НАДИРАДЗЕ

СКРЯБИН — ЭТЮД ВТОРОЙ

Сколько раз взволнованное слово
Я кидал в ночную темноту,
Чтоб за грани бытия земного
Увести усталую мечту!

Бился я, как воробей в буране
Бьется в освещенное окно,
Но душа обречена заране,
И бескрылой взвиться не дано.

Человек, ты плоть и сухожилия,
Что на время костью скреплены...

1928 год

Ничего тебе не скажут крылья,
Бархатные крылья тишины.

Будь цветком ты на высоком кряже,
Соком опьяненною пчелой.
Зори, вечера и ночи даже
Будут пусть равны перед тобой.

Жаворонком взвившись на рассвете,
Мрака ночи также не страшись.
Эта жизнь и бег тысячелетий
Только вздох, что улетает ввысь!

Перевод с грузинского Б. Брика

ВЕТЕР

Тебе подолгу я внимал
В часы раздумий и сомненья,
С тобою вместе я рыдал,
Но не обрел успокоенья.

1930 год

О, будь мне другом в жизни раз,
Один лишь раз будь нежным братом.
Даруй забвенье хоть на час,
Чтоб твой предвечный скорбный глас
Мне не твердил о невозвратном!

Перевод с грузинского П. Петренко

Расказ о войне

Ника проснулся от того, что ему стало весело. Он подбежал к окну. Двор был залит солнцем. Рекс лежал на припеке и, положив морду на лапы, смотрел на кур.

— Рекс! — крикнул Ника.

Рекс вскинул голову, и красный язык волнами заходил у него между зубов.

— Сейчас!.. — Ника выбежал из комнаты.

В кухне на полке стояли крынки и махотки, на тарелке с обломанной кромкой лежала прикрытая инжировыми листьями головка сыра. Ника пробежал во вторую комнату и открыл створки буфета. Буфет дохнул на него застарелым запахом чая, варенья, кукурузных лепешек. Ника стащил одну лепешку и выбежал во двор. Рекс бросился навстречу. Ника подкинул лепешку, звонко рассмеялся и присел, глядя, как ест Рекс. Рекс слопал лепешку и посмотрел на Ника. Ника почесал колено.

«Ты собака... Как ты быстро...»

В буфете оставалась последняя лепешка. Ника повертел ее, надкусил краешек и положил на место.

— Все... — сказал он Рексу и развел руками. — Нету...

Рекс осмотрел его руки, вздохнул. Ника опять засмеялся, перелез через низенькую ограду и упал на траву, зная, что Рекс последует за ним, и готовясь встретить его нападение. И действительно, Рекс кинулся на него и они стали бороться, повизгивая, смеясь. Потом Ника запыхался, перевернулся на живот. Рекс несколько раз ткнул его мордой в бок, заигрывая, но увидев,

что Ника не хочет больше играть, лег рядом.

Ника обнял его за шею. От собаки крепко и надежно пахло псиной.

— Что мне с тобой делать? — спросил Ника.

— А что? — не понял Рекс.

— Я сейчас заберусь на черешню, а ты ведь черешни не ешь...

— Да, я не могу, — огорчился Рекс.

— Собака ты, собака... Слопал целую лепешку, и еще хочешь кушать...

— Да нет, не очень... — смутился Рекс и виновато опустил морду.

— Я уж знаю... у меня у самого в животе урчит, каши просит... и никого нет дома. Бабушка ходит не знаю где... Оставили меня одного, Рекс... У них там на кухне чего только нету: и сыр, и простокваша, но я не могу достать до этой полки.

— Да, ты еще маленький, — почувствовал Рекс.

— Ничего, — сказал Ника, — дай время — вырасту, все куры будут наши.

— Ох, и хороши куры! — глаза у Рекса застыли, а красный язык высунулся из зубов и задрожал.

— Не надо, — сказал Ника, — что мы с ними станем делать. К тому же они еще цыплята, хотя и большие... Пусть подрастут...

Рекс согласился и спрятал язык.

Ника вдруг вспомнил что-то, наклонился к уху собаки и зашептал.

— Поглядите-ка на них! — раздался в это время голос бабушки.

— Лежат в обнимку и шушукаются. Пошел прочь, негодный пес!..

Блох от него хочешь набраться, сумасшедший мальчишка!

Ника и Рекс вскочили.

— Гони его к черту, дармоеда шелудивого!..

Рекс потерялся от возмущения и обернулся к Нике.

— Это я-то шелудивый?!

— Не слушай ты ее, — махнул рукой Ника.

— Иди сейчас же сюда, я тебе руки вымою.

— Ну... я пошел... — вздохнул Ника.

— Иди, я посмотрю, как тебе будут мыть руки... В случае чего я здесь...

— Ладно...

Ника подошел к бабушке, снизу вверх взглянул ей в лицо и протянул обе руки.

— Сколько раз я тебе говорила, не возись ты с этой собакой.. У собак глисты, блохи... Ты позавтракал?

— Нет...

— А кто съел целую лепешку?

Ника покосился на Рекса.

— Разве это завтрак, — сказал он, — я даже не заметил.

— Что ты такое несешь?.. Небось, скормил своему дружку... — бабушка, вытирая полотенцем его ладони, задержала их в своих руках. Ника посмотрел ей в глаза, увидел в них веселый блеск и засмеялся. — Ты настоящий мужчина, — сказала бабка, — только такая щедрость нам не по карману.

Она наскоро сварила кашу из кукурузной муки на козьем молоке и посадила Нику за стол.

— Видишь, сколько дней твой дед таскается где-то из-за мешка кукурузы.

— Много, — согласился Ника. — А скоро он придет?

— Кто знает... Не на крестины поехал...

Ника съел кашу и соскользнул со стула, но бабушка остановила его.

— Погоди, у меня к тебе дело... Сходи-ка ты к Анастасии... — бабка вздохнула, поднялась на табурет и достала головку сыра, лежащую на

полке, — старуха не сегодня-завтра преставится... тыфу-тыфу, прости господи... Скажи, сама бы заглянула, да дела не пускают... Возьми этот сыр. И еще я дам тебе два яйца, — бабка завернула сыр в бумагу и положила Нике за пазуху, — не выпадет?

— Нет, — сказал Ника.

— А яйца держи в руках, вот так... Ну, ступай.

Ника выбежал на балкон.

— Рекс!

— Стой, чертенок!.. — бабка схватила его за руку. — Если вы с Рексом съедите этот сыр, я не знаю, что с вами сделаю!..

Ника засмеялся.

— Мы уже позавтракали.

— Ладно, ладно... От меня ничего не скроешь, — бабка наклонилась к Нике и заглянула ему в глаза. — Ты знаешь, какая я хитрая: я смотрю тебе в глаза и все вижу, до пяток...

У Ники защеботало в пятках. Он кисло улыбнулся и дернул рукой, пытаясь вырваться.

— Смотри, не беги... Осторожней у оврага!..

Ника и Рекс выбежали со двора.

«Вот еще... видит до пяток. — У Ники все еще чесались пятки, он снял чувяки и постукал пятками об землю. — Что я, сам не понимаю, что ли...»

Рекс трусил рядом.

Они обогнули акациевую рощицу на пригорке возле их двора и стали спускаться к оврагу. Здесь всегда стоял теплый запах земляники и высушенной травы. Мелкорослый дубняк, остаток большого леса, сваленного на корню, рос по обе стороны дороги.

Тропинка сбежала в овраг, взбиралась на противоположную сторону и резко падала вниз. Обычно Ника бежал здесь очертя голову, чувствуя, как подпрыгивают щечки и, не в силах остановиться, пронеслся палеко мимо дома бабки Анастасии, стоящего на сухмене. На этот раз бежать было опасно, и Ника по-

шел медленно. Рекс стоял внизу и, разинув рот, смотрел на него. Ника хотел что-то крикнуть ему, но поскользнулся на кремнистой крошке, упал и заскользил, упираясь в локти, как на салазках, когда летишь головой вперед. Рекс бросился к нему, заметался, не в силах помочь. Наконец Ника встал.

— Ух-ух-ух-ух-ух!.. — заплясал он на месте. Яйца были у него в руках, но сыра за пазухой не оказалось. — Где сыр, Рекс? Ух-ух-ух... где сыр, ты не видел?

Рекс шумно задышал, взвизгнул и кинулся в овраг. Ника, все еще пританцовывая, встал у края оврага. Через минуту Рекс появился из зарослей папоротника, неся в зубах головку сыра. Ника потянулся за сыром и только сейчас заметил, что все еще держит в руках яйца. Он сложил все за пазуху и, слюнявя ободранные в кровь колени, вошел во двор.

Бабка Анастасия лежала в большой сумрачной комнате на деревянной кровати. В комнате было прохладно. В углу на сундуке что-то чернело...

Ника выложил гостинцы на стол.
— Вот... вам бабушка прислала...

— Спасибо, сынок... спасибо... — слабо отозвалась старуха. — Подойди-ка поближе, погляжу я на тебя...

«Эге!..» — удивился Ника и нерешительно приблизился к кровати. Опухшее белое лицо смотрело на него.

Бабка Анастасия приподнялась на подушке.

— Ах, детка! Что с тобой! — проговорила она, разглядев Нику. — Скорей принеси воды, я тебе ранки промою...

«Нет уж...» — подумал Ника.

— Я лучше пойду домой, — сказал он, пятясь к двери.

— Скорее, сынок, скорее!.. Столбняк хватить может...

— До свидания, бабушка Анастасия...

— До свидания, родненький...

Передай бабушке — благодарю, не забывает горемычную... Господи, боже мой, да иди же скорее!.. Где ты так ободрался?

— Бабушка, для чего тебе такие большие уши? — спросил Ника, открывая двери.

— Что, сынок?..

Ника выскочил во двор и перевел дух.

... Дома ему тщательно промыли раны чачей!

— Правду говорят, что люди на старости лет глупеют... Надо было мне самой пойти, старой дуре!.. Немужели ты не разбил яиц?

— Нет... потише, ба... больно...

Бабушка не очень верила тому, что Ника не разбил яиц, но ей было жалко внука и хотелось что-нибудь сделать для него, хотя бы испечь пирожок с сыром, но последнюю головку сыра она отослала Анастасии.

— Проклятое время, — вздыхала она и шумно сморкалась в подол. — Ох, проклятое время!..

Ника и Рекс сидели в саду, под черешней. Рекс был на две головы выше Ники. Колени и руки у Ники болели. Он чувствовал себя раненым солдатом

Он вернулся домой и сказал:

— Бабушка, перевяжи мне раны...

Через двадцать минут он был перебинтован весь, с головы до пят. Он прихрамывая ходил по дому, раны у него болели, и он знал, что завтра — опять в бой. Ему было не страшно, только вот рана в боку давала о себе знать. Он прижимал руку к ней, незаметно морщился и тихо стонал. За обедом он почти не ел. Он был ранен, и у него пропал аппетит. Лицо его стало хмурым. Большие черные глаза смотрели грустно. Сегодня убили его друга, и он готовился отомстить за него. Как стемнеет, он выберется из окопа, только, только бы боль немного прошла..

— Бабушка, я уйду на фронт, — сказал Ника.

¹ Ч а ч а — виноградная водка (груз.).

Бабушка перестала раздувать огонь в камине. Чугунок на цепочке звякнул, когда она задела его щипцами.

— Что передать твоим сыновьям?

Бабушка долго смотрела куда-то над ним. Потом, тихо покачиваясь, запричитала чуть слышно, едва шевеля губами, и заплакала, шмыгая носом и отирая ладонью слезы со щек.

Ника оторопел. Выбежал из дому. Губы у него дрожали. Он не по-

нимал, почему заплакала бабка, но знал, откуда шло несчастье.

Ах, туда бы, туда!.. На крыльях, на конях... В черной бурке вылететь из-за холма!

Смеркалось.

Далеко на севере в чистом вечернем воздухе вздымалась усмиренная расстоянием и все-таки страшная, белая громада Кавказского хребта.

За хребтом шла война.

Хроника

В одном из номеров выходящего на английском языке журнала «Свет Лайф» за этот год напечатана статья Марины Хачатуровой о Ладзе Гудиашвили. Ниже мы приводим выдержку из нее.

* * *

..Гудиашвили является грузинским интеллигентом в лучшем смысле этого слова. Он получил европейское воспитание и чувствует себя как дома в отношении и западной и восточной культуры. Он человек крепких убеждений, и это качество позволило ему остаться верным самому себе и честным в отношении к другим. Убеждения помогли ему в беспокойные времена отказать от формалистических тенденций. «Наиболее важным делом в жизни и в искусстве является служение человечеству», — сказал он мне.

Ателье художника раскрывает нам мир искусства, рожденногостройной творческой потребностью и фантазией. Оригинальная, мощная поэтичная, утонченная, без излишней аффектации, его живопись глубокими корнями уходит в национальные традиции и в то же время является высоко индивидуальной. Нет ни одного художника, о котором можно было бы сказать, что Гудиашвили похож на него. Его произведения резко отличаются друг от друга, его картины являются в какой-то мере неожиданно причудливыми, темпераментными и по-своему таинственными, его гуаши лучезарны и жизненны. Его графика 40-х годов напоминает Гойю... Его иллюстрации в классическом стиле к «Витязю в тигровой шкуре» великого грузинского поэта XII столетия Шота Руставели передают всю остроту аромата той отдаленной эпохи. Его картины заставляют без конца возвращаться к ним обратно. Рокуэлл Кент сказал, что он влюбился в Грузию благодаря Гудиашвили. Гудиашвили изумительный график. С текучей легкостью и точностью линии он передает грацию человеческой формы, ее размеры, силу, ритм и движение..

СЛЕДЫ НА СНЕГУ



Я видел белый цвет земли,
где безмянный почерк следа
водил караули средь снега
и начинал тетрадь зимы.

Кого-то так влекло с крыльца!
И снег — уже не лист бесцельный,
а рукопись строки бесценной,
не доведенной до конца.

Перевод с грузинского Б. Ахмадулиной

ВАМПИРЫ

«В США огромная армия осведомителей, занимающихся проверкой лояльности граждан»...

Из газет

Мужчины бледные
в одежде штатской,
я с вашей
выправкой
знаком
солдатской.
И день
не спите вы,
и ночь
не спите вы,
о, как
вы бдительны!

Вы очень
бдительны...
Я знаю облик ваш
такой холеный,
блеск ваших
серых глаз —
огонь холодный.
Второго нет огня
такого страшного —
в нем
поколения
сгорели заживо.

Перевод с грузинского Р. Сефа

* * *

Опять всю ночь бессонницею мучаюсь,
раздумываю о добре, о зле.
А на заре
во двор приходит мусорщик,
увозит мусор на своем осле.
Ах, этот мусорщик
с нехитрой музыкой,
я слушаю, как он гремит звонком.
Всю жизнь
имея дело только с мусором,
с сомненьями
он, видно, не знаком.

Как добрый гном,
дворами ходит мусорщик,
не мучаясь вопросом:
быть—не быть?
Вот мне б его терпение и мужество,
чтоб людям слово чистое добыть!
Ах, этот мусорщик
с нехитрой музыкой!
Звонком меня торопит он:
«Спеш!»...
И я спешу избавиться от мусора,
скопившегося в уголках души.

Перевод с грузинского Г. Куренева

Зарисовки с натуры

К ЗЕМНОМУ

Высоко-высоко на склоне ущелья Папи я вижу ель. Она изогнулась тонким стволом и смотрит верхушкой вниз — на ручей... И кажется, ель нашла столько интересного на земле, что отвернулась от неба. Глядит, словно завороженная, не наглядится... Голые корни судорожно обвивают скалу. Ей страшно сорваться и упасть в глубь пропасти. Но изумление и восторг перед увиденным пересиливают страх...

КАМЕННЫЙ КЛАД

Белые скалы «Каменного клада» в истоках Сандриш. Исполинские мраморные стены на всю высоту склонов! Они разрисованы струями насыщенных железом вод, и черные орнаменты на белом фоне придают «Каменному кладу» строгое величепие. Но он гармоничен не только для глаза, но и для слуха. Бросьте ему в лицо хоть одно слово, и он, будто на клавишах сказочной фисгармонии, отобьет гамму мелодичных нот.

Мы проходим у стен «Каменного клада», и они оживают. Концерт начинают басы волкодавов, им вторят дисканты дворняг и щенков. Эхо наполняет их благородным звоном серебра.

На скалах под снежными фестонами — мохнатые головы серых и черных сторожевых собак. Они следят оттуда за отарами овец, что пасутся внизу, в долине «Светлого ключа». Своим концертом они предупреждают вас, что им с высоты

все видно, что в любой момент они слетят со скалы подобно орлам...

ПРИЕМЫШ

На скалистом берегу Черного моря, в Цихис-Дзири, у каменной лестницы, что ведет к уединенной отдели меж утесов, растет кокосовая пальма. У нее стройный стан, суженный книзу, как у бокала. А наверху, в кольце зеленых вееров, красуется елочка. Бог весть, как занесло туда семя, как родилось из него, как выросло деревцо! Корни его скрыты под волосяной сорочкой пальмового ствола. Но выглядит елочка такой упитанной, свежей и веселой, что невольно напоминает холеного ребенка, в котором души не чают. Ветер раскачивает зеленые ладони пальмы, шевелятся тонкие ее пальцы и ласково касаются взъерошенной головки подкидыша...

КРАТКИЙ МИГ СЛАВЫ

Сверчок долго поднимается по стене, мучительно налаживает и открывает крылышки. И вот наконец — старт! Смелый бросок вперед, и он в упоении кружится вокруг лампы. Всего несколько оборотов. Он срывается и падает... И снова начинается подъем. Трудное восхождение в гору... Нудное карабканье. Сверчок упорно выбирает удобный трамплин. Терпеливо испытывает крылышки на взмах. Все неприятности подготовки скрадывает мечта о восторге прыжка и головокружительного полета вокруг солнца... Он кружится вокруг светила, сам

сверкает, безумно наслаждается минутной своей славой... И — падает...

СИЛУЭТЫ ЗЕМНЫХ ЧУВСТВ

На северном крае позолоченного закатом неба — причудливые темные облака. Вот плывут силуэты обращенных друг к другу в профиль лиц, тянутся долго одно к другому, выпячивая губы словно для поцелуя... И вдруг показывают друг другу клыки и огрызаются...

РАДОСТЬ В ПУТИ

Мы сидели вокруг ночного костра и размышляли, что приносит подлинную радость на трудных дорогах наших скитаний в горах. Один из нас сказал, что это — тропинка в сумраке в незнакомом лесу. Другой назвал студены фодник в испепеляющей эной. Третий вспомнил теплый свет в окне в слепую ненастную ночь...

ПОЕДИНОК

Над синим-синим Севаном ястреб схватился в поединке с вороном. Летели перья, но только черные перья ворона... Ростом он был крупнее ястреба, но в движениях суетлив и неловок. Он был к тому же чрезмерно криклив. Движения ястреба были плавны и сильны. Он казался невозмутимо спокойным и смелым. Он не выкрикивал ни проклятий, ни хвастливых угроз... И над Севаном разлетались черные перья ворона.

МОЛЬБА ОЛЕНЯ

По Военно-Грузинской дороге шла рейсовая машина. Вблизи Душети путники вдруг увидели оленя. Он

стоял у края дороги и, гордо закинув назад ветви рогов, без страха, доверчиво смотрел на автобус. Машина остановилась. Люди высыпали на дорогу и окружили животное. Оно и не думало уходить. Вытянув шею, олень поворачивал голову к каждому из стоявших вокруг и, казалось, хотел о чем-то рассказать. Люди смотрели, дивились и не принимали его.

«Да он же ранен!» — воскликнул кто-то. В самом деле, с левой стороны груди оленя виднелась рана. Рану осмотрели, она оказалась смертельной. Олень глядел на людей, и теперь им понятна стала его безмолвная просьба: он молил о помощи, потому вышел на дорогу, потому и ждал людей... За всю его жизнь в заповедных лесах люди не причинили ему дурного. Их же закон охранял его. И вдруг... разве мог он знать, что человек, вопреки своему же закону, предательски направит дуло ружья в его доверчивое сердце. Жалость и возмущение схватили путников. Но они бессильны были помочь животному. Все же рану промыли и перевязали. Олень терпел боль, не сопротивлялся — он верил людям... А силы его поминутно слабели. Вот он опустился на колени и все смотрел и смотрел на людей, смотрел так, что разрывалось сердце...

Молча, с чувством огромной вины за кого-то, за что-то, в сознании непоправимого сядились люди в автобус... Автобус тронулся. И все время, пока автобус не свернул за скалу, люди, обернувшись назад, видели на краю дороги оленя. Он стоял на коленях и провожал большими печальными глазами тех, кому только что вверил свою судьбу.

НЕБЕСА ТВОИ И РОЩИ

О дедулети, дедулети,
Приникшая к подножью гор!
Всегда со мной — зимой и летом —
Ручьев и рощ твоих узор.

О, кто-нибудь без стона мог ли
Глядеть, как мучили тебя?!
В полях кузнечики замолкли,
По роще срубленной скорбя...

Столетиями над пропастями
Вгрызалась я в пласты земли...
Когда б не я — враги горстями
Твою бы землю унесли.

Херхеулидзе девять братьев
Вскормила грудью я своей,
Твоей земле святым заклатьем
Я посвятила сыновей.

* * *

Все равно мне было,
Все равно!..
Все равно, куда во время жатвы
Улетают изолиги из гнезд?
Для кого, на цыпочки поднявшись,
Превзойдя свой рост,
Встал подсолнух
В яркой желтой шапке?

Все равно мне было,
Все равно —
Почему мох прячется от света
В тьму
И почему,
Не желая выползть из темноты,
Ненавидит пестрые цветы,
Выросшие где-то?..

Все равно мне было,
Почему
Дерево тепло одето
Летом,
А мороз встречает
Неодетым,
Голым —
Ах, как холодно ему!..
Почему
Все в лесу осины
Поголовно,
Как одна,
Осинами зовутся?
Чья вина
В том, что каждой —
Ну хотя бы устно! —
Имени не дали своего --
Отчего?

И небеса твои, и рощи
Спасала в смертном я бою,
Свистели пули, смерть пророча,
И пробивали грудь мою...

Но землю снова я пахала,
И снова кровь моя лилась —
Чтоб не бродил здесь кто попало
И на тебя не пялил глаз!

Восстав из мертвых, красной краской
Окрасила я не зарю,
А ширь долины Алазанской —
И свою участь — не корю.

И солнцем вновь глаза наполню,
И почками дерев нальюсь,
Земли блистательному полдню
Земным поклоном поклонюсь.

Все равно мне было,
Все равно,
Осень ли, зима
К нам в окна бьется?
Отчего лоза, творя вино,
Опьяняя всех,
Всегда сама
Трезвой остается?
А земля,
Что долго голодала,
Кормит нас плодами
Доотвала?

Все равно мне было,
Что в лесу
Дуб упал —
Ну, что ж, упал — и ладно...
Что дрожит розинка на весу,
Что земля — прохладна...

...Целый мир — в тебе!..
Отныне впредь
Деться некуда!
Мне теперь, пожалуй, умереть
Будет некогда!

Все с тобою связано
В одно —
Дело до всего мне!..
Что ж до остального --
Все равно,
Все равно мне!

Андре МОРУА

Три письма

Н О В Е Л Л А

Известному французскому писателю Андре Моруа исполнилось восемьдесят лет. В нашей стране А. Моруа хорошо известен прежде всего биографическими романами о Байроне, Шелли, Флеминге, Дюма.

Одним из последних произведений Моруа является книга «Параллельная история СССР и США», над которой он работал в сотрудничестве с Луи Арагоном.

* * *

Когда Жанна Берто умерла в тридцать лет, мы все подумали, что карьера Виктора Берто окончилась. Трудодлюбивый, один из лучших ораторов своего поколения, Виктор, казалось, был создан для того, чтобы преуспеть в политической жизни. Но те, кто как и я учились с ним в лицее, служили в армии — слишком хорошо знали его слаботи, чтобы думать, что из него получится государственный деятель. Пройти в депутаты, удивить парламент бойкой речью — на это, мы знали, Виктор был способен. Но мы не могли представить его во главе министерства, сотрудничающим с коллегами... Он слишком любил женщин. В споре, всегда убежденный в своей правоте, Виктор никогда не принимал во внимание доводы противника. Наконец, он поддавался гневу, и тогда горячность подавляла здравый смысл его речей, что не раз ссорило его с людьми, в поддержке которых он нуждался. Именно поэтому я был убежден, что, несмотря на его тонкий ум, он обречен на неудачи. Но так я считал лишь до того дня, ког-

да, к моему великому удивлению, он женился на Жанне. Как он познакомился с ней? Впрочем, удивительным было не то, что он с нею познакомился, а то, что он оценил ее. По правде говоря, я думаю, что она раньше него поняла, какую силу составит этот брак. Она постаралась завоевать его и затем удержать. Она преуспела и в том и в другом. Трудно даже представить, насколько Жанна отличалась от Виктора. Она была столь же спокойной, сколь он — резким, столь же умеренной, сколь он иступленным, столь же снисходительной, сколь он нетерпимым. Далеко не такая красивая, как другие женщины, которых он любил, она обладала бесспорным очарованием, которое создавали свежесть, здоровый вид, прямота взгляда и веселая улыбка. Она была французенкой до мозга костей. Я знал одного американца, который хотел жениться на французенке, очарованный Генриеттой из «Ученых женщин». Он, должно быть, женился бы на Жанне Берто, которая как раз воплощала в себе мольеровскую Генриетту с ее здоровой непосредствен-

ной чувственностью, простотой, силой.

Признаюсь, я не ожидал, что Берто способен был обнаружить в Жанне столько скрытых достоинств, а тем более привязаться к ней надолго и страстно. Но я ошибся: ни одна супружеская пара не была более спаянной. Как только Жанна приручила, а потом женила на себе своего великого человека, они не расставались больше. Она работала вместе с ним, каждый день являлась в парламент, ездила с ним в избирательный округ и очень тонко, чтобы не задеть его самолюбия, давала советы. Наблюдая за ее жизнью, я понял, почему французские женщины с таким неистребимым терпением дожидались права голоса. Жанна Берто располагала креслом в парламенте, и я начал было подумывать, что скоро она войдет в состав кабинета министров под именем своего супруга. И в самом деле, благодаря этому браку, положение Виктора в его партии изменилось. Влиятельные старики не говорили больше: «Берто?.. Очень умен и хороший оратор, но сумасбродная голова». Теперь, когда упоминали Виктора, они одобрительно кивали головой: «Берто?.. Да, да... немного молод, но одна из наших надежд...» Примечательно, что мнение это было достигнуто без утраты расположения более воинственного левого крыла партии. Время от времени ярость срывала еще с губ Берто несправедливую брань в адрес друзей, но Жанна тотчас же вмешивалась, добивалась извинений, дружеских рукопожатий, и все улаживалось. Что касается любовных приключений, то им не было больше места в жизни Берто; он был влюблен только в одну женщину, свою жену, и не краснел, признаваясь в этом.

Безмятежное счастье семьи Берто было внезапно прервано смертью Жанны.

Помнится, возвращаясь с кладбища Монмартр вместе с романистом

Бертраном Шмиттом, который был одним из близких друзей супругов, я сказал ему:

— Бедняга Виктор!... Нас бы не потрясло так его отчаяние, будь он другим... Видеть его, этого уверенного в себе, торжествующего, шумного человека, таким обмякшим, растерянным, удивительно и трогательно.

— Да, — сказал Бертран. — Жанна полностью преобразила его... Она защищала его от него самого. Виктор много потерял с ее смертью... Изабелла и я предложили ему поехать в деревню, в наш Перигор, но он еще пребывает в том состоянии, когда отказываются покинуть дом, который был местом счастья.

Несколько месяцев я старался не тревожить Берто в его горе и ограничился тем, что написал ему: если он захочет видеть своих старых друзей, я — к его услугам. Секретарша ответила мне вежливо и неопределенно. В октябре, после парламентских каникул, Берто вновь появился в Бурбонском дворце. Его приняли с сочувствием, которое, конечно, объяснялось его трауром.

Но вскоре коллеги убедились, что ужиться с ним так же трудно, как и до женитьбы. Вернее, Виктор стал еще более неуживчивым, потому что сейчас к его гневным вспышкам примешивалась холодная горечь. Но мне нечего было сетовать на него. Один или два раза в месяц мы обедали вместе; он относился ко мне с упрямой приязнью. Он никогда не говорил со мной о своей жене и, когда речь заходила о чувствах, проявлял цинизм, который, мне кажется, служил ему защитой от них. В конце декабря пало правительство, как это случалось тогда три или четыре раза в год. Газеты писали, что Бриан, которому было поручено сформировать новый кабинет, предложил министерство связи Виктору Берто, депутату от департамента Дром. Вскоре был

опубликован список министров. Там числился Берто, и я отправился к нему с поздравлениями. Я застал его в плохом настроении.

— О, — сказал он мне. — Если бы ты знал, что это такое!.. Я участвовал лишь в двух заседаниях совета министров, и весьма возможно, что подам в отставку. Я уже сцепился с министрами финансов и общественных работ... И вообще, в этом министерстве связи — полная неразбериха! Там приказывают все, кроме министра... Профсоюз всемогущ... Нет, право же, поздравлять меня не с чем.

В течение нескольких дней, раскрывая по утрам газету, я ожидал сообщения об отставке Берто. Но его не было. Неделю спустя, выходя из дому, я встретил Бертрана Шмитта. Естественно, мы заговорили о нашем общем друге.

— Вы слышали о его последнем шаге? — спросил Бертран Шмитт.

— Вы имеете в виду его министерский портфель?

— Не совсем, — сказал Шмитт.

— Я говорю о письме.

— Каком письме?... Я ничего не слышал.

— А! Это было бы отличным сюжетом для новеллы, — сказал Шмитт с гурманством писателя, который чуёт тему. — Не знаю, рассказывали ли вам, что Берто на посту министра стал совершенно невыносимым, коллеги стонут от него...

— Он мне сам признавался в этом, — сказал я.

— Бриан терпелив, но и его терпению есть предел. После того заседания совета министров, на котором Берто зарвался и оскорбил бедного Шерона, премьер потребовал от нашего друга, чтобы он подал в отставку, и тогда разыгралась театральная сцена... Но затем, к удивлению всех коллег, Виктор, наш непримиримый Виктор, вдруг поехал в министерство финансов извиняться перед Шероном! Причем, он был таким вежливым, учтивым, так искренне раскаивался, что Шерон сам отправился к Бриа-

ну защищать его... Все уладилось — и Виктор остается министром.

— Это совсем не похоже на Берто, — удивился я. — Как же вы объясняете такой поворот?

— Я бы не смог его объяснить, — сказал Шмитт, — Виктор сам раскрыл мне секрет. Оказывается, на следующий день после стычки с Шероном, когда он собирался выйти из дому, секретарша вручила ему только что полученное письмо с пометкой «Лично». Удивленный, взволнованный, он с ужасом узнал почерк Жанны. Разрезал конверт. Несомненно, письмо было от жены. Он прочел мне отдельные места из письма. Конечно, я не помню его наизусть, но моя профессия романиста позволяет мне пересказывать такие документы... Словом, Жанна писала: «...Любимый мой, ты будешь очень взволнован, получив это письмо. Успокойся, оно не из загробного мира и в нем нет ничего дьявольского. Чувствуя себя очень ослабевшей и не зная, удачно ли меня оперируют в клинике, я попыталась представить, что случится с тобой, если меня не станут... Я знаю тебя очень хорошо, мой любимый, лучше, чем ты знаешь себя. И я немного боюсь за тебя. Я верю в твой ум, дорогой, но для тебя я всегда была чем-то вроде уздечки, а на скачках уздечка так необходима! Разве тебе не будет чутьточку неоставать меня? Я подумала, что в итоге ничто не мешает мне оставаться в твоих мыслях, и поэтому я написала это письмо. Я передам его одному скромному другу, попросив, чтобы письмо было послано тебе только в том случае, если произойдут события, которые я предвижу. И тогда, если я не ошибаюсь, ты найдешь в письме то, что услышал бы от меня, будь я рядом, с тобой... Поскольку сегодня мое письмо находится в твоих руках, значит мои маленькие пророчества оказались правильными. Приляг рядом со мной, любимый мой, возьми мою руку, прислони голову к моему пле-

чу и слушай, как ты когда-то слушал»...

— Насколько я понимаю, Бертран, это ваша фантазия.

— Увы, мой друг, это ее письмо, и если слова чуточку неточны, то мысли принадлежат Жанне Берто.

— Так, значит, этот скромный друг вы сами, Бертран?

— Не говорите этого никогда, прошу вас! — горячо воскликнул Шмитт. — Короче, Жанна предвидела и удачи, и неприятности своего мужа... Она советовала ему быть великодушным, сдержанным и откровенным.

— Потому-то он и нанес визит Шерону?

— Да, этот визит с извинениями был полным посмертным успехом бедной женщины.

— Какая прекрасная повесть, Бертран! Надеюсь, вы напишете об этом?

— Может быть, напишу... Когда-нибудь... Сейчас я не имею права.

Когда я встретился с Берто, он подтвердил рассказ Бертрана Шмитта. «Да, — сказал Виктор. — Ангел-хранитель коснулся меня крылом». И представьте, многие из его коллег поведали мне о благотворном влиянии письма покойной на нашего друга.

Несколько месяцев у Берто все шло хорошо. Он навел порядок в управлении почтами. О нем говорила вся Франция. Его звезда всходила. Потом, как и следовало ожидать, пало правительство Бриана, и Берто взял отпуск и уехал в Марокко. Там он влюбился в Дору Бергманн, странную особу, которая путешествовала среди племен Атласа, переодетая в конника колониальных войск, и о которой много тогда говорили. Мы ожидали, что наш друг может вновь полюбить, забыть о своей печали, снова жениться. Никогда мы не желали, чтобы он, молодой человек, сохранил невозможную верность тени. Но Дора Бергманн!... Правда, она была красива, у нее был талант (ее стихи напоминали стихи мадам

де Ноайль, если заменить пейзажи Африки на Иль-де-Франс), но ее прошлое, репутация не внушали никакого доверия. У нее бывали многочисленные связи и, поразительная деталь, всегда с офицерами или высшими колониальными чиновниками. Возможно, что все это было ложью, не знаю, но во всяком случае ничто не могло погубить престиж политика более, чем связь с этой искательницей приключений.

Когда Берто возвратился в Париж с Дорой Бергманн, некоторые из нас попытались образумить его. Мы не обольщались насчет результативности наших советов. Есть правило — увы! — без исключения: «Кто предостерегает друга от женщины, которую он любит, тот теряет друга, не повредив женщине». Виктор принял наши возражения с яростью и постепенно удалил из своей жизни Бертрана Шмитта, меня и нескольких других. В Париже, в парламентских кругах уже стали поговаривать о его увольнении, которое наносило ему большой ущерб.

— Остается, — сказал я однажды вечером Бертрану, — одна-единственная надежда, что Жанна предвидела и такой случай, так же, как предыдущий, и что Берто получит новое предостережение, Я верю, что только она одна сохранила достаточно влияния на Виктора, чтобы раскрыть ему глаза.

— Я убежден, — сказал Бертран, — что предостережение придет.

— Бертран, вы улыбаетесь!.. Вы что-то знаете!

— Уверю вас, что нет. Но я был самого высокого мнения об интуиции Жанны и мне показалось бы естественным...

— Уж не думаете ли вы, что она могла предвидеть и эту Бергманн?

— Нет, конечно... Но она могла без особых усилий догадаться, что женщина известного пошиба способна завоевать оставшегося одиноким Виктора. Она могла бы оставить письмо, которое надлежа-

ло бы послать ему именно в таком случае, как этот.

— Оставить письмо? Но кому?...

— Тому, кому она доверила первое. Другу, способному трезво взвесить обстановку и в нужный момент вмешаться.

— О романист! — сказал я ему.

— Что еще за романы вы сочиняете?

Последующие события показали, однако, что романист рассуждал правильно. Еще прежде, чем нам стало известно о втором письме Жанны, мы с радостью узнали, что в одно прекрасное утро Виктор вдруг уехал в свой избирательный округ. Он никого не предупредил об этом и никому не объяснил причины своего отъезда. Он уединился в своем сельском домике, около Монтелимара. Дора Бергманн поехала вслед за ним, но он отказался с ней видеться. Она долго бушевала, но, ничего не добившись, смирилась. Газеты писали, что она собирается в новое путешествие в Рио-дель-Оро. Виктор был спасен. Когда он возвратился в Париж, я отправился к нему. Принял он меня с радостью.

— Да, да, — говорил он мне, смеясь, — один раз ты случайно оказался прав...

— Сейчас ты признаешь, что я был прав. А три месяца назад, когда я пытался тебя предостеречь, ты и слушать меня не захотел.

Тогда он рассказал мне о втором письме. Он нашел его утром в корреспонденции. Жанна советовала ему в случае какого-либо опасного и опростетчивого любовного похождения уехать, как только он получит ее письмо. «Я знаю тебя,

мой любимый,— писала она, если ты не уедешь и вновь увидишь эту женщину, в тебе заговорят честь, желание и гордость. На расстоянии твой ясный ум одержит верх. Ты увидишь в истинном свете то, что вблизи ускользало от тебя... Итак, без колебаний, без размышлений... Положи это письмо в карман, бери чемодан, садись за руль и, не сказав никому ни слова, укажи в Дром...»

Виктор так и поступил.

— Я так верю в мудрость моей жены! — сказал он.

Мне нравился покорный тон этого признания.

«Неужели вот так всю жизнь ему будет покровительствовать покойница?» — подумал я.

Всю жизнь? Нет. Два года спустя, когда он колебался с женой, Берто получил третье письмо, которое одобрило этот шаг. Остатки ли Жанна другие письма? Этого мы никогда не узнаем.

Бертран Шмитт рассказывает, что в 1936 году, когда Берто-министр очутился в состоянии мучительного раздумья, он с надеждой ждал совета своего ангела-хранителя. Бертран застал его, этого безбожника, как на молитве, перед портретом Жанны. На этот раз письмо не пришло. Берто принял решение сам и просчитался. Это было концом его политической жизни.

Но в деревенском уединении, в кругу своей семьи, со второй женой, которая каждый год дарила ему по ребенку, он не казался несчастным. И быть может, именно такого счастья желала ему потусторонняя советчица.

Перевод с французского К. Енгояна

Д. А. ДРАГУНСКИЙ,
дважды Герой Советского Союза

Сердце Кутузова

Дважды Герой Советского Союза Давид Абрамович Драгунский один из прославленных танкистов наших Вооруженных сил. О своей жизни и боевом пути, о своих славных боевых соратниках-танкистах, которые в жестоких и кровопролитных сражениях ковали победу над фашистской Германией, Д. Драгунский рассказывает в книге «Годы в броне». Первую часть этой книги несколько лет тому назад опубликовал журнал «Молодая гвардия». Сейчас Д. Драгунский подготовил для печати вторую часть книги под названием «Так начинался сорок пятый», главу из которой мы публикуем ниже.

Генерал-лейтенант танковых войск Д. А. Драгунский уже много лет служит на южных рубежах нашей Советской Родины. Сейчас он первый заместитель командующего Закавказским военным округом.

...Второй день, как без вести пропал Федоровский батальон. Радиосвязь с ним отсутствовала. Посланный к нему офицер связи где-то застрял и пока не возвратился. Заместитель командира бригады Иван Емельянович Калашников, проблуждав целую ночь в поисках батальона, вернулся ни с чем.

Командир корпуса генерал Иванов дал нам менее суток на подготовку и наступление на Бунцлау. Бригаду надо было собрать, привести в порядок, а она еще до сих пор вела затяжные бои в районе Яуэр. Ночные бои нарушили управление бригадой. Только к утру удалось нам вытаскать из боя батальоны Осадчего и Старченко. Молодой комбат капитан Коротков, заменивший убитого накануне командира второго батальона Савченкова, был на подходе. Не было лишь батальона Федорова. Замполит Дмитриев меня успокаивал: «Да куда он не денется. Ты же знаешь этого хитреца. Не верю, чтобы его в горах немцы застукали».

Долго допрашивал я Осадчего. Николай Акимович виделся с Федоровым только вчера днем. Тот передал ему, что от начальника штаба бригады он получил задачу — выйти южнее Зорау, перехватить дороги, идущие с гор, и обеспечить действия бригады и корпуса.

— Ну, а дальше? — допытываюсь у Осадчего.

— Больше его не видел, но слышал где-то в стороне танковую стрельбу.

Настроение у меня было подавленное. Позавчера в одном из небольших населен-

ных пунктов был убит командир батальона Савченков. Прямо-таки на моих глазах погиб...

Батальоны Федорова и Осадчего под покровом ночи, обходя мелкие населенные пункты, вырвались далеко вперед.

По перехваченной радиограмме их подразделения подходили к Гайнау.

Это же была такая удача, что мы и представить себе не могли. Район этот находился от нас на удалении сорока километров. Мы рассчитывали бригадой выйти к Гайнау только во второй половине завтрашнего дня, а тут такой успех. Посыпались распоряжения Федорову и Осадчему об овладении городом Гайнау. Главное, надо было на ходу поставить задачу Савченкову и Старченко, повернуть их на северо-запад. А тут я со штабом бригады непростительно отстали. Я остановился у каменного дома. На карте Савченкова я прочертил маршрут движения и пунктирной линией отметил, куда ему выходить к утру. Комбат взял карту, посмотрел внимательно, понял без лишних слов боевую задачу, свернул самокрутку, лихо вскочил на танк, обхватил правой рукой ствол пушки, и батальонная колонна тронулась. Скоро она скрылась в темноте.

Штабные машины еще не успели тронуться с места, как нас окружили советские дивчата и пареньки.

Из толпы раздавались голоса:

— Неужели это правда? Неужели это свобода?!

Тяжело было смотреть на них — полураздетых, обутых в какие-то соломенные

чувяки. Своими большими взрослыми глазами на исхудалых детских лицах они молили о помощи, искали у нас спасение, боялись отойти от нас. И нам было трудно от них оторваться. У каждого из нас были такие же братишки и сестренки. У каждого из нас были свои травмы, свое личное горе. Мы едва успевали отвечать на вопросы. Все спрашивали об одном и том же: о судьбе своих семей, городов, колхозов, о судьбе своей Родины.

И вдруг какой-то оглушительный, непонятный взрыв, вслед за которым вспыхнуло зарево, осветившее пасмурное облачное небо, а через какое-то мгновение началась автоматная перестрелка.

Вместе с комбатом автоматчиков, с офицерами штаба мы помчались на место происшествия. Перед нами разорванный горящий танк комбата, а рядом на мокром брезенте изуродованное до неузнаваемости тело Савченкова.

Комбат и его экипаж погибли от рук захвативших в этой деревне фольксштурмовцев и фаустников. В прошлом крымский шофер Савченков в ходе войны стал опытным, боевым танкистом. В эту ночь осиротел 2-й батальон, которым командовал долгие месяцы Григорий Иванович.

В ту ночь рассчитались мы с врагом в этой деревне в полной мере. Пошады фашистам не дали. Они почувствовали на себе, что значит справедливая месть.

Вот и теперь места не находю, неужели Федоров тоже попал в беду? Хотелось верить, что он найдет выход из любого положения. За плечами этого худенького, низкорослого комбата большая жизнь, многое повидал он и пережил...

...Далекая Сибирь, бедная семья крестьянина в селе Колесниково Омской области, добывающая себе хлеб в поте лица, в борьбе с суровой природой. Вот что Федорова окружало с детства. Раскаты Октября докатились и до Сибири, а вместе с Советской властью пришло то, что превратило каторжную страшную Сибирь в один из лучших краев Советской России. Из года в год Сибирь оснащалась техникой сельского хозяйства. Впервые в жизни, мальчиком 14 лет, Петя увидел в своем селе машину, которая, пуская клубы синеватого дыма, тащила плуг, борону, сеялку.

Пытливого мальчика не покидала мысль изучить трактор и управлять им так, как это делают взрослые. Потянуло его в Омск. Здесь он поступил на курсы трактористов. Велика была радость Федорова, когда он, закончив обучение, первый раз самостоятельно повел трактор. Изучив в совершенстве трактор, он не остановился на этом. Увидев однажды машину еще «умнее» — комбайн, он сразу же решает стать комбайнером. Благодаря своей большой любви к машине он сравнительно легко достигает и этой цели. Научившись управлять машинами, Федоров заинтересовался ремонтным делом и в короткий срок стал механиком автотранспортного дела. Рабо-

тая в совхозе, Федоров вступает в ряды Ленинского комсомола, а в 1936 году специальным набору досрочно пошел в армию, в танковую часть. Снова машина — танк. Она сложнее прежних изученных им машин, да и к тому же на ней грозное вооружение — пушка и пулемет. Упорный в труде Федоров научился отлично водить танк в любых условиях местности и времени суток, поражать огневые точки противника, готовясь с честью постоять за Родину.

В 1938 году во время боев у озера Хасан Федоров вместе со своей частью бил японских самураев, будучи уже командиром танка.

Полюбилось военное дело Петру Ермолаевичу. Строгая дисциплина армии напомнила ему четкую ритмичную работу двигателя. Ему захотелось стать командиром, и это желание было так же непоколебимо, как давнишнее стремление стать трактористом.

Настал 1941 год... Война!.. На четвертый месяц Отечественной войны, в октябре 1941 года, Федоров уже лейтенантом попадает на Западный фронт в танковую часть, отражает наступление немцев на Москву в районе Серпухова.

Тяжелые оборонительные бои с частыми контратаками шли в районе Серпухова. Экипаж танка лейтенанта Федорова был на редкость дружным. Водителем был Михайлов, радистом Дервянко, башенным стрелком Белых. Перед наступлением они стояли в лесу. Под ногами шуршали опавшие листья, кое-где на вершинах берез задержалась золотистая листва. Взвод Федорова получил приказ атаковать немцев. Танк лейтенанта выскочил из леса и пошел напрямик. Кругом рвались снаряды. Когда подошли к высоте, вдруг раздался сильный взрыв, потрясавший корпус машины, и в башне вспыхнуло пламя. Экипаж выскочил из танка, залег. Разорвавшаяся мина убила башенного стрелка и разбила пулемет. Немцы ослабили огонь, очевидно, намереваясь приблизиться к ним. Водитель и радист были ранены. Убитый башенный стрелок лежал у танка. Осенняя трава постепенно пропитывалась его кровью. Казалось, что погибший Белых положил голову на красное знамя. Водитель и радист были еще в состоянии двигаться, и Федоров стоял, чтобы они направились на перевалочный пункт. Он остался рядом с убитым башенным стрелком, имея при себе автомат и гранаты.

Не успел он обдумать как следует свое положение, как где-то совсем близко послышалась немецкая речь. Немцы!.. — пронеслось у него в голове. Решение возникло мгновенно. Федоров поспешно вымазал себе лицо и шею еще теплой кровью убитого товарища, сослужившего ему последнюю службу. Затаил дыхание. К нему приблизилась двое. Едва приоткрыв глаза, он увидел фашистского офицера и финна, которые что-то быстро говорили по-немецки. Финн подошел к Федорову и ткнул его са-

погом. «Убит», — сказал он по-русски. В танке начали вращаться снаряды. Немец и его спутник, испугавшись, пошли прочь. Федоров продолжал лежать неподвижно рядом с трупом.

Прошло еще около двух часов. Но вот нарастающий гул мощного родного русского «ура» выводит его из оцепенения. Рядом с собой лейтенант увидел бойцов, контратакующих врага. Немедля он вскакивает и в синем комбинезоне, в танковом шлеме вливается в строй пехотинцев, расстреливает из автомата бегущих немцев и финнов.

12 января 1942 года началось наступление наших войск от Москвы на запад. В составе танкового соединения Федоров участвовал в освобождении Ясной Поляны, Калуги, Южнова, Мосальска, Кирова.

После этих жестоких боев Федоров вступает в ряды Коммунистической партии. Высокая честь коммуниста вдохновила его еще на большие подвиги и отвагу. И вся его дальнейшая жизнь и борьба с немцами вывалили из него прекрасный образ коммуниста-героя.

Август 1942 года. Старший лейтенант Федоров, командуя танковой ротой, прибывает на Брянский фронт. Разгорелись жестокие схватки в районе города Мценска. В этих боях Федоров был ранен. Залечив раны, он возвращается снова в свою часть и участвует в боях за освобождение городов Калач, Россошь, Чугуев, Харьков, Краснодар.

Наступление наших войск продолжалось. На широких просторах орловских полей танкисты Федорова впервые встретились с хваленными немецкими «тиграми». Его танк в селе Слободка под Орлом в числе первых смелым тараном поразил вражескую машину. Легенда о неуязвимости «тигров» была развеяна в прах. За это экипаж был высоко награжден. Механик-водитель Дубляй был удостоен звания Героя Советского Союза.

В последующие годы Федоров все время уже воевал с нами.

Запомнилось 7 ноября 1944 года. Недалеко от Тарнобешгега в лесу на огромной полянке была встроена бригада. Все офицеры и солдаты получают правительственные награды. Командарм обходит строй, здоровается, к знамени прикрепляет второй орден Красного Знамени. Поочередно подходят к генералу награжденные. Подходит Петр Ефремович Федоров. Щупленький, юркий и как всегда со смеющимися глазами-шариками.

«Служу Советскому Союзу!» — коротко отвечает он генералу Рыбалко, который вручает ему орден Ленина и Золотую звезду Героя Советского Союза. Старый, заслуженный генерал обнимает молодого героя-сибиряка и крепко целует.

...Наше беспокойство оказалось напрасным. К ночи Федоров прибыл к нам целым и невредимым, приволок большую группу пленных, десяток исправных машин, нагруженных оружием и другими трофеями.

Ругал я его на этот раз с подлинным ожесточением. Грозил снять с батальона, прогнать его в тыл, напустить на него всякие беды. Он стоял передо мной не шевелясь, не перебивал, и по-прежнему его глазенки смеялись.

— Чего же ты застрял? Завтра идем всей бригадой в бой, а ты пропал, — не унимался я, хотя начал понемногу остывать.

— Я не виноват, товарищ полковник, еще ночью и утром рвался к вам, но меня не пустили.

— Радиogramмы получил? — вмешался начштаба Свербихин.

— Не до них было, — буркнул комбат.

— Так в чем же дело, товарищ Федоров? Кто вас не пускал?

— Немцы. Сначала я их держал у выхода с гор, выполнял ваш же приказ, а потом они меня обошли с трех сторон и давай колошматить. Целый день вырывался из их объятий, но к ночи я их обманул и выскокил, да еще с трофеями.

Постепенно страсти улеглись, я успел успокоиться, разобраться. Федоров, конечно, был прав.

— Это отговорки, — уже пониженным тоном журил я его.

Время было на исходе. Через несколько часов предстояло нам тронуться.

Задача, поставленная командиром корпуса, сводилась к тому, чтобы с рассветом выйти на восточный берег реки Бобер, прикрыться с запада этой рекой, а главными силами наступать в направлении города Бунцлау и овладеть им.

На восточную окраину города должна была наступать бригада Слюсаренко, а еще южнее — полковника Чугункова. Мы успели накоротке договориться с ними. Установили условные сигналы взаимодействия: первый, кто выходит к Бунцлау, должен был дать радиосигнал и серию ракет.

В первом эшелоне у меня наступали батальоны Осадчего и Короткова, заменившего покойного Савченкова, во втором эшелоне Федоров. Старченко усиливал автоматчиками батальоны первого эшелона.

С рассветом 10 февраля бригада пошла выполнять боевую задачу. Совершив марш около сорока километров, Осадчий, имея левее себя батальон Короткова, достиг реки Бобер и повел наступление на город Бунцлау.

На подходе к городу немцы открыли сильный огонь из зенитной артиллерии и танков. Наступление затормозилось. По импульсу боя чувствовалось, что с ходу город нам не взять. Приданный артиллерийский полк отстал. Были приняты меры к его подтягиванию. Пока подоспели артиллеристы, прошло немало времени. Командир корпуса нервничал, командарм потребовал энергичных действий и намекнул, что затыжка по овладению городом происходит по моей вине. На участок Чугункова была подтянута бригада Головачева. Во всяком

случае уже перевалило за полдень и надо было торопиться, чтобы не допустить изурядительного ночного боя в городе.

Город Бунцлау и река Бобер имели большое значение. Это были ворота к водному рубежу реки Нейсе, отсюда дороги ведут на Лаубан, Берлин, Котбус и Дрезден.

Во второй половине дня мы усилили свои атаки. Наш огонь с трех сторон обрушился на город. На помощь танкам пришла вся наша артиллерия, минометы. В многоголовый хор орудий и танков включились гвардейские минометы-катюши. Вступила в бой наша пехота. От сильной канонады, атаки танков и пехоты город содрогался. На улицах его появились очаги пожаров, участились взрывы. Немцы взорвали мост через реку. В горящем городе началась паника. Пожары охватили центральные улицы.

К вечеру сопротивление врага было окончательно сломлено. На его северной окраине вспыхнули наши зеленые ракеты, обозначающие, что мы уже в городе и в него можно свободно входить.

В ответ на наш сигнал Слюсаренко с востока, Чугунков и Головачев с юго-востока также вошли в Бунцлау. Оставив танки, артиллерию, раненых, склады, базы, враг бежал в направлении Лаубан, Герлиц. Фашисты рассчитывали, что они за рекой Нейсе спасутся от наших сокрушающих ударов.

Город продолжал пылать. Невиданный по силе снегопад все усиливался. Колонна танков и артиллерии по горящим улицам продвигалась черепашиным шагом. Танкисты открыли все люки и щели танков, водители распахнули дверцы автомашин. Я сидел в открытой легкой машине, зажатой спереди и сзади идущими танками. Скорость достигала один-два километра в час.

Огромные снежные хлопья падали с неба. Они залепили стекла машин, забили смотровые отверстия в танках. Попадая в моторную группу, жалюзи радиаторов, в люки башен, снег быстро превращался в липкую жидкость. Опущенные шапки-ушанки, накинутые плащ-палатки не могли защитить от невиданного до сих пор, поистине загадочного снегопада.

От пожаров, от электрического света до-круг фонарей образовались красно-зеленые круги, напоминающие причудливые радуги.

Почему не выключена электростанция? Почему улицы залиты огнем? (Все это тоже было одной из тех загадок, каких немало можно было встретить на войне).

Что-то передо мной промелькнуло, завертелось в снежном вихре. Перед машиной появилась какая-то женщина в белом воротничке. Почему она пляшет перед моей машиной? Не галлюцинация ли это? С тревогой подумал, что со мной не все в порядке. Видимо, силы начали сдавать. И немудрено. С 12 января идут бесперывные бои, хроническое недосыпание. Нервы напряжены до предела. Все больше и больше дает о себе знать последнее ранение. Приходится согласиться с тем, что солдатам, сер-

жантам и младшим офицерам, какое бы на их долю не выпало физическое напряжение, все-таки гораздо легче. Командиры взводов, командиры танков и отделений, механики и солдаты прировнились к тяготам войны, приспособились к ее особенностям. По ночам они могли немного вздремнуть. Они ухитрились спать на башне танка и внутри его, в кабине и кузове машины, на стволе пушки, могли прилечь у миномета, прыгнуть между боями, на марше, при затишье исходных позиций. Война приучила солдат спать стоя, спать на ходу.

Нам, старшим начальникам, такая возможность не всегда представлялась. Днем бои, а ночью новые задачи. Их надо осознать, прочувствовать, изучить, затем надо отдать распоряжения, проверить, как они выполняются, произвести все перегруппировки, подвести за ночь продовольствие, боеприпасы, горячее. А тут как обычно ночь всегда такая кучая. Утро появляется слишком быстро, а там бои, марши... Последние дни я уже изнемогал от усталости и недосыпания.

— Георгий, знаешь, браток, я серьезно заболел, — пожаловался я шоферу.

— Что с вами?

— У меня началась галлюцинация. Вот сейчас в этом снегопаде я вижу танцующих женщин. Смотри — вот одна, вторая, третья.

— Я тоже вижу, — крикнул Газошвили мне в ухо и резко затормозил машину.

Мы выскочили из «виллиса». К нам подбежала группа женщин. Недалеко от нас лежала одна, попавшая под танк. Меня охватило недоумение. Это была реальная действительность, а не болезненное мое воображение. Одна из женщин в толпе хохотала, какая-то молодая плясала. Вся колонна остановилась и замерла на месте. Начинаем спрашивать по-русски, по-немецки.

Вокруг нас все больше и больше появляется женщин, одинаково одетых в коричневые халаты с белыми воротничками. Многие машут руками и указывают на дом, стоящий от нас в стороне.

Андрей Серажимов со своими разведчиками устремился к горящему дому. Из его комнат раздаются крики, вопли, страшный плач. Что же это такое?

Постепенно с большим трудом мы разобрались в случившемся. В этом доме находилась женская больница для душевнобольных. Фашисты, удирая из города, больницу заперли. Рядом стоящий дом запылал. Огонь пожара приближался к больнице. Языки пламени уже вторгались в окна. Поднялась паника. Больные стали прыгать из окон второго и третьего этажей. От окончательной гибели больных спасли наши разведчики. Мигом они очутились у дверей, взломали их и вывели на улицу беззащитных женщин.

В самом центре города пожаров было меньше. Командант штаба нашел нетронутую войной тихую улочку. В одном из

небольших домов разместился штаб. Полетели донесения, сводки, заявки. От командира корпуса была получена радиограмма: «До утра ни с места. Организовать оборону в западной части города вдоль берега реки Бобер. Личный состав держать в кулаке, в готовности, завтра 11 февраля наступать на Лаубан». Как это кстати. Возможно, удастся все-таки часок-другой соснуть. Только что бушевавший страшный снежный буран, пляска огромных снежинок словно по команде прекратились. Артиллерийская стрельба отдалялась. Автоматная стрельба умолкла. К ночи пожары стали затухать. По улицам носились, как угорелые, мотоциклы, броневики. Они рыскали по городу в поисках штабов и оставших, заблудившихся рот и батальонов.

На сей раз у меня в бригаде обошлось более или менее благополучно.

Над Осадчим посмеивались. Он со своим батальоном заблудился, но Николай Акимович быстро опомнился и благополучно присоединился к нам. Правда, у Федорова язык почесывался, но он боялся начать этот разговор, так как у самого рыльце было в пушку. Слишком свежи были воспоминания о «потерянном» в горах Федоровском батальоне.

Комнаты штаба постепенно наполнялись людьми. Прибыли по вызову комбата командир приданных подразделений, офицеры технической службы во главе с зампотехом Иваном Сергеевичем Жакуниным. Появился начальник тыла Иван Михайлович Леонов.

Встреча с начальником тыла всегда проходила бурно. Будучи всегда и в любых условиях спокойным, предусмотрительно осторожным, Леонов в самой трудной обстановке не терял самообладания и его никогда не оставял природный юмор и оптимизм. На сей раз у комбатов была причина подзадеть своего друга Ивана Михайловича. Умный и дальновидный Леонов все-таки недавно промахнулся. Придерживаясь своего правила: «Будет жив тыл, будет и победа», он старался свое большое тыловое хозяйство держать подальше от места боев, не подвергать тыл излишней опасности. Это было оправдано, когда боевые действия проходили на нашей территории. Но он не учел, что теперь, когда бои шли на вражеской земле, обстановка резко изменилась.

Недавно, преследуя отходящего противника, мы сильно рванули вперед и оторвались от тылов более чем на сто километров. Позади нас оставались большие вражеские группы. В поисках выхода из окружения они натянулись на наши тыловые подразделения, учреждения. Ожидая разгрому подвергся леоновский тыл. Бои для него были тяжелыми.

В этой схватке начальник и его тыл были окружены немцами. Началось истребление тыловиков. Потери были боль-

шие. Перевес был на стороне противника. Вышедшая на наши тылы вражеская группировка имела несколько танков, бронетранспортеров, много автоматчиков. Им противостояли наши кладовщики и ремонтники, медики и повара. Активных средств защиты у них не было. Казалось, что положение безнадежно, но... вскоре в разгар этого вынужденного и неравного боя подошел стрелковый полк 52-й армии, направляющийся к фронту. Каково было удивление Леонова, когда вдруг немцы прекратили огонь и побежали к лесу. Роли сменились, тыловики торжествовали и, присоединившись к пехотинцам, организовали преследование удирающих фашистов.

Этот случай заставил Леонова держаться ближе к боевым подразделениям бригады, а мне и штабу пришлось отрешиться от беспечности, порожденной успешными действиями, и выделить часть сил для охраны тыла.

Все-таки этот инцидент не избавил Ивана Михайловича от насмешек со стороны задиристых комбатов.

— Получилось, как «Свадьба в Малиновке», — подшучивал над ним Осадчий.

— Тебе, Николай Акимович, все шуточки, у тебя танки, а у меня кухни да обоз. Не знаю, как бы ты запел, будучи на моем месте. Помню, ты на танках однажды так драпанул, что ты два дня тебя искали и еле нашли, — не сдался Леонов, который хорошо отработал правило: «Лучший вид обороны — наступление». Верный этому правилу, он с азартом напал на Осадчего, Федорова, Старченко. Но как бы то ни было, Иван Михайлович был хорошим организатором, дельным и понимающим свое трудное военное ремесло. Нелегко быть начальником тыла танковой бригады, подвижной и мобильной танковой армии. Как только бой стихал, Леонов мчался к нам, и всегда с ним было пять-шесть цистерн горючего, пара машин с боеприпасами, кухни, запасное обмундирование, продовольствие и желанная порция водочки, которая после боя была и приятной и необходимой.

Солдаты прозвали этот обоз красным. О подходе его нетрудно было угадать по радости лицам солдат и офицеров.

В штабе бригады еще долго царил оживление, дружеские споры, смех. Постепенно Леонова оставили в покое, началась промывка косточек сибиряка Федорова. В этот момент, запыхавшись, вбежал Дмитриев. Его звонкий голос заставил умолкнуть всех. Улыбки застыли на лицах присутствующих.

— Слушайте Москву, передается приказ Верховного Главнокомандующего.

Распахнулись двери соседней комнаты, где стоял радиоприемник. Диктор Левитан торжественно передавал:

«Сегодня взят крупный узел дорог на Дрезденском направлении — город

Бунцау. При взятии отличились так-
кыты генералов Рыбалко, Иванова, Нови-
кова, полковников Драгунского, Слюсар-
енко, Головачева... и многих других». Заключительные слова благодарности, слова «Смерть немецким оккупантам» уже
тонули в веселом радостном шуме.

Я видел, как солдаты в неуклюжих по-
лушубках радостно хлопали друг друга
по спине. Леонов и Лакуни дружески
жали руки своим недавним насмешникам
Осадчому и Федорову.

Радостный гул заполнил комнаты шта-
ба, но хлопот и забот по организации ноч-
ных действий, по подготовке к завтрашним
боям было много, и мы принялись со
штабом, политотделом к выполнению сво-
их будничных дел. Офицеры развехались,
разошлись все по своим местам. Неуго-
монный муравейник стих. Мы с Дмитрие-
вым ушли в другую комнату прилечь и
немного поспать. На душе было легко и
радостно.

Мы так далеко от Родины, но нас не
забывают. Москва в эти минуты салютует
своим сынам, идущим все дальше и даль-
ше на запад, несущим на своих знаменах
честь, славу своей Родины. В эту ночь
мы как никогда хорошо отдохнули и
отоспались. Утро оказалось чудесным.
Мягкий морозец и утренние лучи зимнего
солнца приятно бодрили людей.

С утра по городу, по разным улицам и
дорогам проходили войска. Танки шли
вперемежку с артиллерией. Мимо нас про-
следовала большая колонна пехоты. Все
идут, все спешат, имеют свои направле-
ния, свои маршруты, свои пути-дороги.
Те же регулировщики, те же Галочка и
Машенька, которые освещали фонарика-
ми дороги на западных одерских равни-
нах, теперь уже направляют одних на за-
пад к реке Нейсе, других на юг к Ляу-
бану, третьих — на север в направлении
Наумбуре.

Подшел начальник штаба бригады
Свербихин. Как всегда спокойным голо-
сом доложил:

— Бригада выведена во второй эшелон.
Нам оставаться на месте. — В подтверж-
дение сказанного он протянул мне шиф-
ровку.

— Сколько нам оставаться? — спросил
я у Григория Андреевича.

— У нас еще много времени.

Много времени означало три-четыре
часа.

— Давайте поедем во второй баталь-
он, — предложил Дмитриев.

Предложение было резонным. Хотелось
посмотреть нового комбата Короткова,
заменившего недавно погибшего Савчен-
кова.

Не успели тронуться, как к нам подъ-
ехала группа генералов и офицеров. Впе-
реди мы заметили командарма.

Как это положено, я отрапортовал ему,
докладывая состояние бригады и задачу, по-
лученную от командира корпуса.

— Мы переезжаем на новый команд-
ный пункт, целую ночь передвигаемся, а
столовая отстала. Вот думаем у вас по-
крепиться. Как вы на это смотрите? —
весело подмигнул мне Рыбалко.

— Как же, рады стараться, — подвер-
нулся вовремя Леонов. — Разрешите,
товарищ командующий, угостить вас хо-
рошим завтраком.

Всей группой вошли в дом. Пока нач-
прод Мишенков и начальник тыла суети-
лись по дому, сервировали стол, мы в
другой комнате обступили карту, на ко-
торой армейский разведчик — маленький,
юркий, толковый полковник Шулькин
что-то резко доказывал Бахметьеву. Тот,
протирая очки, мотал головой.

— Не верю, чтобы 8-я танковая диви-
зия пришла из Венгрии. Там же положе-
ние у немцев крайне тяжелое. Наверное,
она пришла с запада.

Шулькин настаивал на своем. Пленные
показывали, что эта дивизия действитель-
но пришла с юга. Наша бригада столк-
нулась с 8-й дивизией в районе Рыбник
и вела с ней тяжелые пятидневные бои.
Постепенно в спор втянулся начальник
оперативного отдела армии полковник
Еременко. Желая доказать свою опера-
тивную осведомленность, вступил в раз-
говор начальник инженерных войск ар-
мии краснощекий, всегда жизнерадостный
Матвей Поликарпович Каменчук. Неиз-
вестно, сколько продолжался бы разговор
вокруг появившейся 8-й немецкой танко-
вой дивизии, если бы не вмешался в по-
лемнику прибывший с командармом коррес-
пондент фронтовой газеты подполковник
Александр Ильич Безыменский.

— Разрешите мне, Павел Семенович, —
произнес своим топяньким голосом не в
меру полный и высокий Безыменский.

Все засмеялись. Улыбнулся и Рыбалко.
— С моей поэтической точки зрения яс-
но одно: капут танковой восьмой гитлеров-
ской боевой.

Стоящие вокруг весело хохотали.
— Зачем спорить. Я предлагаю пойти к
столу, выпить рюмочку за упокой танковой
восьмой, — предложил поэт.

Уже на ходу, направляясь в другую ком-
нату, Рыбалко подвел черту под возник-
ший спор.

— Дмитрий Дмитриевич, — обернулся
он к Бахметьеву, — Шулькин прав — эта
дивизия, видимо, пришла, чтобы прикрыть
пути на Дрезден. Немцы боются, как бы
мы не оторвали Германию от Южной и
Центральной Европы. Во всяком случае,
мы эту дивизию здорово потрепали и ее
надо бы окончательно добить.

Мои тыловики постарались на славу.
— Ого! Смотрите, — обратился к при-
сутствующим Бахметьев. — Нас так в
штабе не кормят.

— Они же воют, у них все и должно
быть. У них и трофей, а мы с вами на
подножном корму. А главное, их счастье

в том, что они избавлены от военторга, — парировал Рыбалко.

Ели с аппетитом, уничтожая все выставленное. Рюмки стояли наполненными, но никто не пил. Все незаметно посматривали на командарма. Один Безыменский, игнорируя субординацию и военный этикет, опрокидывал рюмку за рюжкой.

Прищурив насмешливые и колкие глаза, Павел Семенович не без иронии наблюдал за Бахметьевым, Каменчуком, Еременко, которые в эти минуты завидовали поэту.

— Что вы как сычи на меня смотрите? Ну, ладно, разрешаю свою норму использовать, — сказал наконец командарм, а сам потянулся к стакану молока. Хотя мы сами молока не потребляли, предусмотрительный наперед всегда беспокоился о запасах молока для пьющего более крепких напитков командарма.

Сегодня молоко оказалось кстати. После завтрака мы вышли из дома. День выдался по-зимнему ясным, погжим.

Покоренный Бунцлау утих, пожары прекратились, войска продолжали двигаться. — Имейте в виду, Жаубан — крепкий орешек. Вам придется иметь дело не только с немецкими фашистами, но и с махровыми отщепенцами-власовцами, туда подтягивается их целая дивизия, — сказал Рыбалко.

Я спросил командарма, долго ли мы будем стоять в Бунцлау.

Бахметьев дал справку Рыбалко о подходе 6-го танкового корпуса.

— Этот корпус я направляю на Наубург и Герлиц, ваш 7-й танковый на юго-запад. Бить будем одновременно. Надо, чтобы эта свезкая вражеская группировка распылила свои силы. Мы ее заставим драться там, где нам выгодно.

На улицах и переулках стояли наши подразделения. В стороне от танков дымились походные кухни, гремели котелки. Повар упрямивал толпившихся вокруг кухни бойцов подождать еще немного: «Вот-вот каша с мясом будет готова».

Вокруг Павла Семеновича начали собираться люди, подходили офицеры, солдаты, круг раздвинулся, завязалась беседа.

— Я хочу вас поблагодарить за вчерашние действия, — начал командарм. — Москва уже салютовала вам от имени всей нашей Родины. Мы вчера ночью на военном совете решили представить вашу бригаду к ордену Кутузова. И вот почему, дорогие товарищи: в этом городе Бунцлау, в котором мы сейчас находимся, умер великий полководец Михаил Илларионович Кутузов. Здесь уцелел дом, в котором он жил и умер. Здесь же ему поставлен памятник, а недалеко отсюда, в двух километрах, прямо за рекой похоронено его сердце.

Павел Семенович сделал небольшую паузу, обвел глазами танкистов, немного повысил голос и добавил:

— Мы с вами наступаем и идем по местам наших предков, по кутузовским доро-

гам. Теперь, как сто тридцать лет назад, мы пронесем русские знамена на Герлиц, Дрезден и Лейпциг, мы понесем свободу народам всей Европы. Мне хочется пожелать вам — правнукам Кутузова, успехов в боях и окончательной победы!

Рыбалко закончил свою краткую беседу. Танкисты молча смотрели на своего командарма.

Генерал Бахметьев что-то шепнула на ухо командарму. Генералы и офицеры быстро уехали в машины и тронулись к западной окраине города.

С искренней теплотой и добрым чувством провожали воины своего командарма. В эту минуту мне казалось, что Рыбалко сам похож на Кутузова. Тот же небольшой рост, те же широкие черты лица, то же русское добродушие, природный ум полководца и сердце простого русского солдата.

Александр Павлович потянул меня за руку:

— Махнем по городу?

Через несколько минут мы уже были в центре города у высокого серого треугольного гранитного обелиска, поднятого высоко к небу. Высеченные на нем слова гласят: «До сих мест полководец Кутузов довел победоносные войска Российские, но здесь смерть положила предел славным делам его. Он спас Отечество и открыл пути освобождения Европы. Да будет благословенна память героя».

В нескольких минутах ходьбы от величественного обелиска стоял небольшой двухэтажный дом. На стене мемориальная доска. Немецкий народ установил ее в память о русском полководце, принесшем ему в тяжелую пору свободу от наполеоновских захватчиков.

Мы подозвали к себе старика-немца, с явным испугом осматривавшего нас. Разговорились. В прошлом, еще до гитлеровских времен, он был учителем. Кто-то ему сказал, что я полковник. Он боязливо посмотрел на меня старческими глазами и вдруг не выдержал:

— Пойдемте, герр оберст.

Мы, посматривая друг на друга, молчательно следуем за стариком. Он провел нас на второй этаж в просторную угловую комнату с большими окнами, выходящими на улицу.

— У кровати Кутузова, здесь была ширма, за которой сидел военный чиновник Крупеников. В эти двери входил император Александр и наш кайзер Вильгельм проститься с великим старцем.

Слушая немецкого учителя, мысленно переносю в далекое прошлое. Вспоминаю военную историю, лекции, читанные нам профессором Разиным в Академии имени Фрунзе. И в этой комнате передо мною оживает история Отечественной войны 1812 года.

Шел 1813 год. Русская армия разгромила чужеземных захватчиков и изгнала их из пределов нашей Родины. Во главе победоносной армии стоял верный патриот



России — полководец, фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов.

Война в России закончилась победой над наполеоновскими войсками. Просторы России, Бородинское поле, Старо-Смоленская дорога, Березино — все покрылось трупами «великой армии». Участь французов разделили немцы, австрийцы, голландцы, бельгийцы, даже испанцы и все те, кто шел с Наполеоном в поход на Россию.

Березино было последней страницей наполеоновской трагедии. Стоял в то время в этих местах лютый мороз. 6 декабря император бежал во Францию, бросив остатки деморализованных войск, еще недавно считавшихся могущественной армией. Померкла слава Наполеона, погибла его империя. Победоносное шествие русской армии расшатало насхек скроенные по-новому государства Европы.

Кутузовская армия не останавливалась на границе России, она продолжала добивать врага в Польше, Германии, Франции.

11 декабря взят Тильзит, 14 декабря пали Инстенбург и Мемель, 25 декабря — Кенигсберг. Позади уже Пилау, Франкфурт-на-Одере. Русские знамена развеваются на всем фронте от Гамбурга, Берлина и Дрездена.

Ежедневно офицеры кутузовской армии на тройках лошадей, впряженных в легкие походные санки, мчались в Петербург, чтобы доставить на вечное хранение в Казанский собор ключи от захваченных, павших, покоренных, освобожденных городов и крепостей Европы. Русские воины, согретье теплотой своего народа и лучами солнца наступающей весны, были уже далеко за Одером.

Как это похоже на зимние месяцы 1945 года.

Памятный апрель 1813 года. Начались весенние дожди. Образовавшиеся лужи уносили остатки снега с улиц силезского города Бунцлау. Дальше Кутузов не пошел. Уже 10 дней лежит больным фельдмаршал вот здесь, на этой кровати, прижатый к стене.

Мы стараемся запомнить кровать у стены, два больших потемневших от времени кресла, ширму и окно, выходящее на улицу.

Из Бунцлау идут дороги на Герлиц, Дрезден, Лаубан, в Австро-Венгрию, Чехословакию.

Адъютанты и лекаря, офицеры и генералы свиты Кутузова скрывали болезнь полководца от армии, но излишняя суетливость, озабоченные лица, тревожные глаза, все это не прошло незаметно. Слухи неумолимо ползли и шли за полками и ротами. Весть о тяжелом состоянии спасителя России все-таки проникла и просочилась в армию.

А кутузовские полки шли все дальше и дальше на запад. Шли они молча, с болью в сердце, озираясь на восток, на реку Бобер, на Бунцлау, где доживал последние

минуты Михаил Илларионович Кутузов, где медленно останавливалось большое сердце великого патриота России.

Идут кутузовские полки на Дрезден и Лейпциг, идут на Париж, их привел сюда Кутузов. Идут... тихо разговаривают, боясь, как бы не нарушить покоя полководца.

Но предсмертный покой нарушает сам император Александр I. Вечером 27 апреля ему сообщили, что фельдмаршал умирает. Гордый и глупый венценосец, всю жизнь не любивший Кутузова, задумался. Он не мог простить старику многое. Александр прекрасно понимал, что приличие требует выполнить последний долг. Он сознавал, что не простится с фельдмаршалом — значит нанести пощечину всей России.

Черная карета с двуглавым орлом, сопровождаемая эскортом, пробирается по узким улицам Бунцлау, останавливается у дома Кутузова. Дежурный офицер открывает дубовые двери и, вытянувшись в струнку, замирает на месте. Неуверенной походкой входит царь, за ним шлепают кривыми ногами прусский король Фридрих Вильгельм.

Малиновый звон маленьких серебряных шпор доходит до слуха полководца. Своим единственным глазом вглядывается он в царя. Александр боится угасающего Кутузова. Его большая изуродованная пулями голова пугает императора.

— Простишь ли ты меня, Михайло Илларионович?..

— Я прощаю вас, государь... Но простит ли вас Россия?

Александр вздрогнул и опустил голову.

Уходящий из жизни полководец был страшен царю. Александр встал, осмотрелся вокруг. Хорошо, подумал он, что с ним находится в этой комнате только не понимающий русского языка прусский король.

Но за плотной ширмой в левом углу на табурете сидел безмолвный свидетель картины прощания Крупеников. Из его уст последние слова Кутузова стали достойными всей России.

28 апреля Кутузов умер.

Весть о смерти полководца облетела всю армию, всю Россию. Днем и ночью в городах и селах на труднопроходимые дороги, размытые дождями, выходил народ, чтобы проститься с Кутузовым. Тело его везли на вечный покой в Петербург.

В это время в том же Бунцлау на западном берегу реки Бобер, на высоком холме, поросшем молодыми соснами, хоронили сердце Кутузова. Предсмертная просьба Михаила Илларионовича была исполнена. Сердце его осталось с солдатами, с полками, которых он привел сюда.

Отгремела траурная музыка, барабаны отбили последнюю дробь. Над могилой, где похоронено сердце фельдмаршала, вырос высокий земляной холм. Мимо моги-



лы, мимо кутузовского сердца, прошли его победоносные полки.

...Еще долго мы стояли в кутузовском домике в глубоком молчании, в тишине, склонив головы перед памятью великого полководца.

Молча мы покидаем домик. У многих из нас, стоявших в этой комнате, возник один и тот же вопрос — почему гитлеровцы оставили в самом центре этого города памятник-obelisk Кутузову? Чем же объяснить, что уцелел домик-музей, в котором в конце апреля 1813 года умер русский патриот? Ведь всему миру было известно, что Гитлер и его сподвижники с лютой ненавистью относились к России и русским.

Изможденными страдальческими глазами смотрел на нас старый учитель. В эту минуту он разгадал наши мысли. В потухших глазах появились маленькие искорки. Он тихо заговорил:

— Мы, немецкий народ, знали, что когда-то русские принесли нам свободу от Наполеона. Они освободили Германию от нашествия французов. Об этом знает каждый немецкий школьник. Мы не допустили, чтобы глумились над памятью Кутузова. Вы видите — все сохранили, оставили, как было много лет назад.

— Ну, а сейчас как вы относитесь к нам? — не удержался Дмитрийев. — Мы же пришли к вам с огнем и мечом, чтобы выжечь фашистскую заразу.

Немец обвел нас взглядом.

— Мне уже под восемьдесят... Жизнь моя на исходе. Но на прощание скажу — вы нам вторично принесли свободу, на сей раз настоящую свободу. Истинные немцы вас ждали, долго ждали. Поверьте мне, старому человеку. Мне уже не к чему врать и лукавить. Нельзя одинаково думать о Гитлере и о всем немецком народе... Завершайте свое дело до конца. Немецкий народ будет вам вечно благодарен.

Впервые за все годы войны я по-настоящему, по-доброму прощался с немцем, видя в нем не врага, а обыкновенного простого человека, мечтающего о добром мире, как все люди на земле.

Мы покинули кутузовский домик. В голове все закружилось. Домик Кутузова, obelisk, немец-учитель и те фашисты, которые расстреляли отца, мать и всю мою семью, и те немцы, с которыми придется сражаться сегодня, завтра и послезавтра...

Во второй половине дня был получен сигнал к выступлению. Мы тронулись в путь.

Наша Галочка стоит на перекрестке дорог. Встречает нас по-прежнему радостной улыбкой. Мы машем ей руками и посылаем приветы. Она желает нам дальнейших успехов.

Шум моторов, язг и удары гусениц о бугельник заглушают ее звонкий голосок.

По наведенному мосту на небольшой скорости ползут танки и автомашины. Отсюда дорога ведет на Лаубан, в Чехо-

славонию. Эта же дорога ведет к памятнику, где похоронено сердце Кутузова.

Вот появился лесок. Небольшой серый гранитный памятник. У его подножия много цветов, посаженных в горшочках. Это наши девушки успели собрать в городе цветы и украсить ими памятник.

Два солдата с автоматами на груди стоят у могилы.

Я останавливаю бригаду. Танки с надписью «Суворов», «Кутузов», «Богодуховский колхозник», «Бакинский нефтяник» застыли перед памятником.

По колонне раздается команда: «К машинам». На площадке перед могилой выстраиваются танкисты, десантники, артиллеристы, саперы, связисты.

Кто-то распорядился, и к памятнику подошел танк «Кутузов», построенный уральцами на деньги, собранные трудящимися Урала, и подаренный нам. Теперь он служит нам трибуной.

Начальник политотдела открывает митинг. Коротко и четко говорит разведчик Виктор Лисунов, выступает сибиряк Федоров, волжанин Ибрагим Валеев, шахтер Мокров, украинец Старченко, белорус Ивашкевич.

Мне также хотелось высказать перед могилой, в которой покоится сердце Кутузова, все переполнявшие меня чувства. Мы говорили о России, о ее смоленских, тарутинских, бородинских, о ее кирасирских и казацких полках, которые прошли по этим дорогам более ста тридцати лет назад. Мы вспомнили верных сынов России, приведших свои полки вглубь Европы: Волконского, Платова, Давыдова, Ермолова и многих, многих других.

Мы вспомнили слова из приказа фельдмаршала Кутузова:

«Заслужим благодарность иноземных народов и заставим Европу с удивлением восхлищать: непобедимо воинство русское в боях и неподражаемо в великодушии и добродетелях мирных! Вот благородная цель, достойная воинов. Будем же стремиться к ней, храбрые русские солдаты!»

Так же, как и много лет назад, по этим дорогам ныне идут русские войска — советские дивизии и полки: сталинградские, курские, киевские, львовские. Идут на запад, на юг, на север. Идут завершать разгром фашистских полчищ. Идут днем и ночью, в сыляток и непогоду, по лесам и полянам, по высотам и оврагам — несут свободу народам Европы.

Советские армии и корпуса привели сюда верные сыны Родины и Коммунистической партии — Иван Степанович Конев, Павел Семенович Рыбалко, Алексей Семенович Жадов, Павел Александрович Курочкин, Дмитрий Николаевич Гусев, Коротеев, Лелюшенко, Баklangов, Родимцев, Новиков и Сухов, Слюсаренко и Головачев, Якубовский и Архипов и многие, многие закаленные в боях советские офицеры и генералы.

Митинг окончен. Танкисты в честь памяти великого полководца дают трехкратный салют. Раздается команда: «По машинам!»

Лесок наполняется гулом сотен работающих моторов. Шум и рокот еще больше усиливается: над нами в сторону фронта пролетает большая группа наших бомбардировщиков, сопровождаемых юркими истребителями. Их ведет командир дивизии трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин.

Федоров, Осадчий, Коротков, Усков, Серажимов поднимают вверх сигнальные флажки. Командиры рот, взводов отвечают им: «Готово!». Из танков и машин, артиллерийских установок поворачиваются головы в сторону сердца Кутузова, у всех нас такое чувство, как будто бы он благословляет нас на новые ратные подвиги.

Батальоны тронулись дальше вглубь Европы по старым кутузовским дорогам, к победному концу.

Хроника

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ

Комитет по Ленинским премиям в области науки и техники при Совете Министров СССР присудил премии за 1966 год за выдающиеся работы в области науки и техники, а также за наиболее выдающиеся работы в области освоения космического пространства.

Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства при Совете Министров СССР за наиболее выдающиеся достижения в области искусства присудил премии Сергею Герасимову за серию картин «Земля русская», Заре Долухановой за концертно-исполнительскую деятельность, Аркадию Пластову за серию картин «Люди колхозной деревни», Михаилу Ульянову за исполнение роли Егора Трубникова в художественном фильме «Председатель». Ленинская премия присуждена также выдающемуся грузинскому актеру народному артисту СССР Сергею Закариадзе за исполнение роли Георгия Махарашвили в фильме «Отец солдата». Блестящее мастерство, редкое умение актера вжиться в образ своего героя, показать все богатство и щедрость духовного мира советского человека делают крестьянина Махарашвили обобщенным образом нашего великого современника.



ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

Г. ЛОМТАТИДЗЕ

Академик И. А. Джавахишвили

К 90-летию со дня рождения

Об академике Джавахишвили в Грузии писалось немало — и при его жизни, и после. Этот выдающийся ученый вполне заслуживает, чтобы о нем знали как можно больше. И не только его соотечественники, но и все советские люди. Для них-то и предназначен наш очерк!...

«Чудесный Ваню Джавахов».

И. А. Джавахишвили родился 11 (23) апреля 1876 года, в Тбилиси, в семье педагога — инспектора городского училища; в семье крепкой и патриотичной, воспитывавшей в своих отпрысках лучшие человеческие и творческие качества, прогрессивный, демократический дух. Отца семейства А. И. Джавахишвили и мать, С. А. Вахвахишвили, все, знавшие их, характеризуют как замечательную, интеллигентную супружескую чету, отличающуюся большим человеческим обаянием. Все их дети способны и хорошо учатся. Семья существенно по-полняет их школьное образование, снабжая детей грузинской литературой, обучая их музыке. Дети платят родителям безграничной любовью и уважением... Спустя много лет профессор И. Джавахишвили посвящает I том своей основной работы («История грузинского народа») «любимой матери и драгоценной памяти любимого отца»...

Среднее образование Ваню (так по-грузински сокращается имя Иване)

¹ Очерк печатается в сокращенном виде. В нем использованы: монография проф. Д. В. Гврितिшвили, воспоминания и статьи указанных в тексте ученых и других лиц, а также собственные записи и статьи автора.

получает в 1-й тифлисской мужской гимназии. Воспоминания его одноклассников (впоследствии видных деятелей в различных областях) очерчивают исключительно содержательный и чистый облик Ваню-гимназиста. И все единодушно говорят и пишут о нем с большой теплотой: даже в глубокой старости они продолжают обожать своего друга юности.

«Чудесный, милый, благородный, умница был Ваню Джавахов!» — восклицает профессор-геолог Г. М. Смирнов. «Он не только всеобщий любимец, — пишет заслуженный врач Г. Пондоев, — но и совесть класса в полном смысле этого слова; он и советчик и судья своим товарищам». Лектор университета, классицист И. Ф. Нижарадзе, один из близких друзей Ваню как по Тбилиси, так и по Петербургу, вспоминает удушливый полицейско-великодержавнический режим в гимназии эпохи Александра III, который закономерно вызывает реакцию, противоположную той, какую хотелось бы властям. Организируются кружки по изучению родного языка и культуры и, разумеется, одним из активнейших их руководителей является Ваню, с детства росший в атмосфере гордой любви к родине вдумчивый юноша, которого возмущает издевательство над национальным самолюбием молодежи.

В старших классах Ваню уже солидно эрудирован, усиленно занимается внешкольным чтением и наглядно показывает товарищам, какого успеха можно добиться в этом направлении. Учителям любо слушать его ответы — не шаблонные, самостоятельные, прозорливые. Особенно влечет его к истории, литературе, языкам. Его рефера-



ты по этим вопросам являются уже интересными исследованиями. У него давно и твердо решено поступить по окончании гимназии на армяно-грузинское отделение факультета восточных языков Петербургского университета — этого серьезнейшего очага грузиноведения.

Не менее интересны воспоминания поэта Коте Макашвили, сдружившегося с Ваном в 13—14-летнем возрасте. Он с первой же встречи проникся уважением к необыкновенно серьезному и образованному подростку и сохранил это уважение до конца своей жизни, тем более, что тот стимулировал в нем стремление к изучению родного языка. К уважению прибавилось изумление — когда Коте увидел в руках новопробренного друга скрипку: оказывается, Ваню очень любил музыку и учился игре на ней.

Многогранность интересов и познаний в совокупности с неизменной глубиной и фундаментальностью — вот одна из характерных, «сквозных» черт Ваню Джавахишвили, столь импонирующая всем окружающим.

И юный Ваню далеко не одинокачестолобец, упивающийся славой «первого ученика» и замыкающийся в своей скорлупе. Совсем наоборот! Это прирожденный общественник и пропагандист, что хорошо видно по воспоминаниям тех же Нижарадзе и Макашвили, подчеркивающих еще одну «сквозную» черту этого человека — большой темперамент просветителя и «будителя» своих земляков, борца против бездумной апатии. Он зажигает своих многочисленных друзей и почитателей, юношей и девушек, направляет их мысли на активный труд для блага родины взамен легкомысленного времяпрепровождения. И нет сомнения, многим он прививает вкус к такой деятельности на всю жизнь. Особенно плодотворно использует юный организатор для таких занятий летние каникулы, проводимые в родном селе, в красивом Ховле, и в расположенном недалеко местечке Ахалкалаки. Он мобилизует гостящую у него, а также отдыхающую по соседству молодежь, которая с большим увлечением идет за ним. Тут и чтение рефератов, и историко-археологические экскурсии с небольшими раскопками, и любительские спектакли, и концерты со скрипкой и пением, и хоровые грузинские песни, исполняемые совместно с крестьянами (среди них — знаменитые Кавсадзе, потомственные мастера пения, односельчане Ваню), и пляски.

Итак, Ваню Джавахишвили уже тогда был для товарищей тем, чем впоследствии профессор и академик Иване Джавахишвили стал для многочислен-

ных своих коллег и ряда поколений учеников: «совестью» и этическим образцом, беспристрастным судьей и доброжелательно-мудрым наставником, организатором и руководителем, многое знающим, понимающим больше и лучше всех, видящим светлую перспективу, идущим к этому будущему и влекущим за собой других.

Вот такой юноша — рано созревший, собранно-энергичный, волевой и выдержанный — поступает в 19-летнем возрасте в Петербургский университет, осуществляя первую ступень давно и твердо продуманной программы жизни и трудов. Эта программа — служение родине, всеми силами, всеми помыслами.

От Петербурга до Синайской горы

Осенью 1895 года Ваню Джавахишвили уже студент I курса факультета восточных языков и приступает к занятиям по армяно-грузинской филологии. Занимается он под руководством таких выдающихся специалистов востоковедения и кавказоведения, какими являлись Розен, Кокочев, Веселовский, Жуковский, Цагарели, Марр и другие. Специальным предметом избирает историю Грузии и Армении. По окончании четырехгодичного курса он уже свободно владеет армянским, иранским и сирийским языками и успешно использует соответствующие источники. Посещая семинары Н. Я. Марра, он сразу привлекает его внимание, и Марр, оценив способности и увлеченность молодого земляка, занимается с ним отдельно, на дому. Блестящий в ту пору ученый, он не может не влиять на своих слушателей. Ваню тоже отдает дань его влиянию в своих первых работах, однако это отнюдь не мешает ему впоследствии стать одним из самых принципиально суровых критиков вопиющих заблуждений Марра как в науке, так и в общественных вопросах. Пока же молодой студент черпает у своего руководителя, переживающего истинный творческий расцвет, его огромные знания и остроту исследовательской мысли, точечную технику филологических изысканий.

Два его студенческих сочинения отмечаются золотыми медалями. Н. Марр, представляя к награде вторую из них, написанную третьекурсником, заявляет, что автор показал умение критически относиться к источникам, объективность ученого.

Ваню не довольствуется основным для себя факультетом и параллельно успешно занимается, благодаря своей феноменальной работоспособности, на историко-филологическом и юридическом факультетах. Он знает точно, за-

чем это ему нужно: придет время, и И. Джавахишвили во всеоружии приступит к исследованию истории грузинского права. Молодой патриот готов к тому, что по окончании курса ему придется работать за десятерых, ибо в то время настоящих специалистов-исследователей в Грузии было крайне мало.

С первых же месяцев занятий в университете Вану, как и в гимназии, привлекает внимание не только преподавателей, но и товарищей, особенно же соотечественников, становясь и тут центральной, ведущей фигурой. Он член правления грузинского землячества и руководитель одного из кружков, занимающихся детальным изучением истории Грузии и ее культуры. По его инициативе создается «Кавказское землячество». Часто устраиваются в пользу нуждающихся земляков «грузинские вечера», сопровождающиеся прославленными на всю Россию национальными песнями и плясками, всегда привлекающими массу зрителей.

В 1899 году 23-летнего Джавахишвили оставляют при университете для подготовки к профессорской деятельности. Руководит им Н. Марр. В начале 1901 года Вану сдает магистерские (кандидатские) экзамены по грузинской филологии и истории и становится магистрантом.

Вскоре его командировывают в Берлин для занятий с профессором Гарнаком. Но параллельно он работает и у других специалистов, следуя своему твердому правилу: везде и всегда усваивать максимум. Гарнак и молодой магистрант остаются весьма довольными друг другом: первый удивлен глубиной историко-филологической подготовки грузинского юноши, а второму очень нравится эрудиция, глубина мысли и остроумие профессора. Дело доходит до того, что Гарнак предлагает Джавахишвили остаться в Берлинском университете и знакомить западную науку с древней Грузией. Однако он получает тактичный отказ, ибо у магистранта единственная задача: служить именно грузинской науке и именно в самой Грузии. Занятия в Берлине оказываются очень плодотворными: помимо всего, изданы две работы Джавахишвили на немецком языке. Давая высокую оценку этим трудам, Гарнак с сожалением отмечает, что в Европе совершенно не знают Грузию, имеющую богатую древнюю христианскую литературу, рукописи которой разбросаны по всему Востоку, от Синайской горы до Петербурга.

Таким образом, Джавахишвили, используя свою командировку в Берлин, пробивает брешь в глухой стене игнорирования западной наукой вклада Грузии в мировую культуру и становится од-

ним из энергичнейших зачинателей пропаганды и популяризации этого вклада.

Сразу по возвращении из Германии Иван Александрович направляется вместе с Н. Марром в новую командировку, более далекую и трудную, но весьма заманчивую — на Синайский полуостров. Целью этой небольшой экспедиции является описание и изучение множества древних рукописей бывшего грузинского монастыря на Синайской горе (который, кстати, упоминается Гарнаком). Он представлял собою в средневековые один из очагов грузинской культуры за рубежом. Это были своего рода культурные аванпосты, продвинутые в различные области Запада и аккумуляировавшие неоценимые литературные сокровища.

Работа над синайскими рукописями (помимо грузинских, и над сирийскими) оказывается увлекательной, плодотворной и весьма трудоемкой, вследствие чего командировка длится почти полгода. Руководитель еще раз с удовлетворением отмечает усердие и упорство помощника, работающего самостоятельно, поделив с ним многочисленные манускрипты. Выявив ряд первоклассных, неизвестных науке памятников, и составив пространный каталог описанных и сфотографированных ими рукописей, ученые покидают суровую обитель многих поколений своих далеких предков. За время углубленной работы над их трудами эти предшественники стали для них очень близкими людьми, почти что «коллегами», с которыми они чуть ли не разговаривали ежедневно.

Вернувшись из Синая, Джавахишвили обращается к восточному факультету за разрешением на чтение лекций и занятие должности приват-доцента по кафедре армяно-грузинской филологии. Пробные лекции одобрены, и Иван Александрович приступает с 1903 года к чтению ряда курсов, постепенно расширяя их. Параллельно он руководит студенческими кружками, где читает общий курс истории Грузии — по неопубликованным пока своим исследованиям. Тематика курсов лекций приват-доцента исключительно разнообразна и одинаково широко охватывает историю Грузии и Армении. Интереснейшие лекции Ивана Александровича (на родном языке) привлекают студентов-грузин самых различных специальностей.

В 1906 году Иван Александрович женится на Анастасии Николаевне Орбелиани и со временем становится отцом дочери и двух сыновей. До переезда в Тбилиси семья живет вместе с ним в Петербурге.

В 1907 году Иван Александрович успешно защищает магистерскую диссер-



тачно по теме: «Государственный строй древней Грузии и древней Армении». Оппонирующие ему Марр и Бартольд дают высокую оценку работе. На диспуте официально заявляется, что уже давно большую долю работы по кафедре несет на своих плечах диссертант.

Однако «приват-доцент и магистр князь Джавахов» так и не удостоивается звания профессора в Петербургском университете. Виною тому и его передовые демократические, свободолобивые взгляды, ничуть им не скрываемые. Не говоря ни о чем другом, он автор изданной в 1906 году смелой, научно обоснованной книги «Политическое и социальное движение в Грузии в XIX в.». В ней заклеимена кровавая сущность циризма; говорится, что «уже несколько лет, как могучее социальное и политическое движение в Грузии привлекает к себе общественное внимание России»; достоверными фактами изобличается национальная политика Романовых и подчеркивается, что под влиянием реакции в эпоху «подавления революции» Грузия подвергалась такому разгрому, как если бы она перенесла вражеское нашествие.

Что и говорить, книга «красолюба!» Ее запрещают, автора привлекают к суду, и полиция сжигает все издание, за исключением нескольких уцелевших экземпляров.

Совершенно прав один из учеников Джавахишвили — академик С. Н. Джанашиа, заявляя в своей статье-некрологе, что Иван Александрович всегда был не отрешенным от жизни исследователем-книжником, а борцом, для которого научная работа является лишь одной из форм общественной активности, ибо социальные воззрения историка Джавахишвили формировались еще с юности под влиянием и на почве национально-освободительного движения, которому он оставался верным до конца.

В таком определении уловлена основная причина огромного, непререкаемого общественного авторитета этого выдающегося ученого.

Как создавался университет

Так озаглавлена статья Ивана Александровича, с которой он выступает в тбилисской прессе, уже в виде воспоминаний победителя в важнейшей для родины борьбе за национальное высшее учебное заведение. Ведь он ни на один день не отходил от этой борьбы, начатой еще в студенческие годы. Проследим же историю этого дела.

Вскоре после защиты диссертации Джавахишвили с удвоенной энергией возобновляет работу среди студентов,

добывается образования отдельного грузинского кружка, составляет его устав, руководит им. Малозначительный на первый взгляд, факт этот на самом деле важен уже хотя бы потому, что молодежь привыкает мыслить научно и излагать мысли на родном языке, а это многие скептики считали невозможным. Руководитель кружка твердо уверен в том, что «изучение и знание грузинской культуры даст возможность использовать древнюю сокровищницу, на почве которой должна возродиться, или, вернее, вовсе воскреснуть из мертвых древняя грузинская наука, некогда богатая, но сильно оскудевшая». Для этого он намечает практическую программу подготовительных работ: чтение и публикация докладов; составление терминологии и библиографии, «исчерпывающего перечня всех сочинений или сведений о Грузии и грузинах» и др.

По поручению Ивана Александровича кружок проводит еще одну, уже сугубо практическую работу. Это учет анкетным способом грузин, обучающихся или служащих в университетах России и западных стран. Ответы, кроме Петербурга, приходят из Москвы, Ярославля, Киева, Харькова, Одессы, Казани, Томска, Дерпта (Тарту), Варшавы, Берлина, Лейпцига, Парижа, Брюсселя, Льежа и так далее. Ведь куда только не кидало юношей и девушек, жаждавших получить высшее образование, отсутствие соответствующего заведения у себя на родине! Царское правительство оставалось глухим к чаяниям грузинской общественности: оно не решалось дать разрешение на открытие даже кавказского русского университета, не говоря уже о национальных вузах. Боялось «усиления смут» среди и без того революционно настроенной молодежи.

Анкетный опрос порадовал инициаторов: выяснилось, что грузинская молодежь везде очень увлечена учебной и что нет ни одной области науки, техники и искусства, которую не занималось бы хоть два-три студента. А это вселяло убеждение, что в смысле наличия преподавательских кадров будущее дело грузинского университета обеспечено.

Но Ивану Александровичу мало этого и он со свойственной ему энергией берет еще одну нагрузку на свои и без того перегруженные, но крепкие плечи. С целью подготовки народа систематически выступает с публичными лекциями по городам Грузии, используя для этого летние каникулы. Молодежь валом валит на эти лекции и заслушивается популярным изложением ряда университетских курсов лектора. При этом он подкрепнито обрисовывает об-



лик исторических лиц, делающих честь родине: энергичных, целеустремленных, умных и бескорыстных патриотов, подвизавшихся на политическом, военном или культурном поприщах. Однако цель этих лекций далека от удовлетворения поверхностных и нездоровых националистических чувств: это совершенно чуждо направленности научно-пропагандистской деятельности Ивана Александровича. Суть этих лекций та же, что и бесед гимназиста Ваню Джавахишвили со сверстниками — в Тбилиси, Ховле или Ахалкалаки. Это призыв отряхнуться от апатии, воспрянуть духом, действовать. Он шаг за шагом внедряет в сознание соотечественников уверенность в близкой перспективе возрождения национальной культуры и в полной возможности базировать это возрождение на почве многовековых старых традиций, временно затененных историческими невзгодами.

Таков Иван Александрович в годы мрачной реакции, заглушавшей многих прогрессивных деятелей, даже казавшихся более революционно настроенными. Он непреклонен, несмотря на явно повышенный интерес полиции к его особе. Убеждает своих многочисленных слушателей, что никакая реакция не страшна при наличии единства и сплоченности.

И вот сбывается мечта лучших людей России и поработенных ею народов. Разражается революция.

Уже после февраля 1917 года Джавахишвили конкретизирует давно вынашиваемый план и форсирует его осуществление. Он дважды выступает — в Тбилиси и Кутаиси — с докладом «О необходимости основания грузинского университета». В Тбилиси он читает лекцию созданному по его инициативе учредительному обществу университета. Доклад содержит исторический обзор зарождения и высокого развития науки в древней Грузии, что позволяло ей всегда идти в ногу с крупными передовыми странами мира. Этому противопоставляется неприглядная картина, создававшаяся в условиях колониального гнета. Приспело время, — говорит докладчик, и теперь уже все убеждены в его правоте, — для возрождения науки и высшего образования. Недостающею деятельностью отдельных энтузиастов и научных обществ, несших это бремя на протяжении почти столетия. Современная наука требует больших коллективов тружеников, отдающих ей всего себя (вспомним слова из обращения акад. И. Павлова к молодежи, уже в советское время — Г. Л.), а им нужно соответствующее учреждение, где, помимо исследовательской, будет вестись и большая педагогическая работа. Уже

налицо, — продолжает он, — целый ряд грузин-профессоров, доцентов и других работающих в университетах за пределами родины. Но там служение грузинской науке не является их прямой обязанностью; они разрознены и не в состоянии создать национальную научную литературу и школу. Для этого необходим свой университет, который объединил бы всех и дал бы им возможность передавать знания своей же молодежи. Далее докладчик полемизирует с теми, кто отдает предпочтение Академии наук (Н. Мара) или политехникуму (Н. Николадзе), аргументируя тем, что первейшей задачей будущего научно-учебного учреждения должно являться исследование настоящего и прошлого Грузии и Кавказа, их природы и народов, в теснейшей связи со странами Ближнего Востока. Более того, — говорит он, — на базе созревшего со временем университета выростут и технические и другие институты.

Наука каждого народа, по мнению Джавахишвили, имеет значение для мирового интеллектуального творчества лишь постольку, поскольку она привносит в него нечто свое, собственное. Это и нужно иметь в виду будущему университету. Грузинские ученые должны с честью выполнять свой долг и стать достойными членами мирового сотрудничества ученых.

Тут мы позволим себе небольшой комментарий — так сказать с позиций 60-х годов нашего века, когда Тбилисский университет и ряд других вузов в различных городах республики, а также Академия наук Грузинской ССР объединяет десятки первоклассных исследовательских учреждений и сотни специалистов, научный авторитет которых возрастает с каждым годом и получает признание даже далеко за пределами Советского Союза. Уже ни для кого не является сомнительным наличие именно того «значительного вклада в сокровищницу общечеловеческой мысли», который ставил университету в необходимое условие такой требовательный его организатор, каким был Иван Александрович. Этому требованию передовая советская грузинская наука соответствует вполне, быстро возмужав в условиях социалистического строя, при всемерной поддержке со стороны государства. И давно уже признано, что в этом огромная заслуга именно того первого отряда энтузиастов — профессоров, организаторов университета, глава которых И. А. Джавахишвили предписывал всем «являть собою для молодежи живой пример науки и образец». Жизнь подтвердила, что правы были не нытики и злопыхатели, а борющиеся с ними Джавахишвили и его единомы-

шленники-соратники, глубоко верившие в революцию и в творческие силы своего народа, раскрепощенные ею...

Но вернемся к 1917 году, когда «борьба за университет» разгорается вновь благодаря тому, что ее вдохновитель проявляет уже максимум своих незаурядных качеств целеустремленного организатора. Пришла пора использовать собранные еще лет пять тому назад анкетные данные и, пополнив их, привлечь взятые на учет силы к Тбилиси.

И по зову замечательного инициатора, по велению собственного сердца слетаются в Тбилиси затрудненными уже гражданской войной дорогами работники с самых различных университетских центров. Образуется солидный квалифицированный коллектив, и становится реальностью мечта многих поколений грузинской интеллигенции.

После интенсивной практической подготовки в конце декабря 1917 года в тбилисских газетах появляется объявление о приеме студентов в грузинский университет. В январе 1918 года на первом заседании профессоров ректором университета по настойчивой рекомендации Джавахишвили (еще раз проявившего свои исключительные скромность и тактичность) избирается П. Меликишвили. Это маститый профессор-химик, снискавший мировую славу в Одесском университете. Джавахишвили становится деканом единственного пока философского факультета, который фактически представляет все гуманитарные науки.

Университет получает прекрасное здание, построенное передовой грузинской общественностью задолго до революции для дворянской гимназии, но с твердым расчетом на то, что когда-нибудь там обособится именно университет. И вот 26-го января 1918 года в этом помещении происходит торжественное открытие Тбилисского университета.

Молодежь, счастливая, несмотря на ряд различных неурядиц, переполняет аудитории. Первые грузинские лекции в первом грузинском университете читаются и слушаются восторженно, приподнято. Это — праздник. Университет начинает существование, чтобы с каждым семестром расти, мужать и развиваться. Показав себя таким, частью общественным вначале, университет вскоре становится государственным. Но от этого ему не легче: все увеличивающаяся разруха при меньшевистской власти сильно мешает налаживанию технической стороны работы; преподаватели нуждаются, но правительство не в состоянии чем-либо им помочь.

Несмотря на это, университет ведет кипучую жизнь, держась на вполне естественном энтузиазме как лекторов, так

и слушателей. Общественность Грузии с ликованием встречает основание и первые шаги долгожданного очага науки и высшего образования. Газеты единогласно пишут об исключительной, героической роли профессора Джавахишвили в этом деле. Его величают «человеком, понесшим на своих плечах самый тяжкий труд, который можно сравнить лишь с трудом пахаря — «гут-нис-деда».

В 1919 году престарелый ректор П. Меликишвили складывает свои полномочия и категорически рекомендует на эту должность И. Джавахишвили. Тот отказывается, ссылаясь на переутомление и нездоровье (вследствие давнишнего случайного отравления его организм в самом деле подорван серьезно и, увы, окончательно). Но его избирают единогласно. По словам Меликишвили, Иване является «первейшим основателем университета, вдохнувшим в него жизнь, и первейшим его рыцарем: никто не в состоянии соперничать с ним, никто не вправе делить с ним эту славу».

Параллельно со сложной административной деятельностью Иван Александрович ведет интенсивную педагогическую и исследовательскую работу. Благодаря налаженному его стараниями, несмотря на огромные трудности, издательству университета, ему удается издавать, наряду с трудами других профессоров, и свои. Он пишет новые исследования. Созданная и выпестованная им кафедра истории Грузии является одной из ведущих. Спустя два десятилетия воспитанники этой кафедры создадут мощный институт в системе Грузинской Академии наук, который ныне с гордостью носит имя Джавахишвили.

Таким образом, не будет преувеличением, если мы скажем, что история создания и первых уверенных шагов Тбилисского государственного университета — одного из передовых в наше время вузов и научно-исследовательских учреждений в Советском Союзе — неразрывно связана с деятельностью Ивана Александровича Джавахишвили. Думаем, что это — самое выдающееся деяние в его славно пройтой и наполненной большими делами жизни, которому им отданы огромная воля, патристическая целеустремленность и энергия.

В Советской Грузии

В феврале 1921 года в Грузии устанавливается Советская власть, одной из забот которой с первых же дней становится всемерная поддержка культурных учреждений. Университет, получив большую помощь от нового правительства, быстро обретает полностью ту



«проектную мощность», которая планировалась его создателями, с действительно универсальным охватом отраслей науки. Совершенствуется техническая оснащённость, подрастают кадры... один за другим начинают «отпочковываться» новые вузы: медицинский, политехнический, сельскохозяйственный, педагогический и т. д. Молодежь Грузии, всегда отличавшаяся особой тягой к высшему образованию, получает для этого неограниченные возможности.

Все это, происшедшее к концу первого десятилетия Советской Грузии, превосходит самые смелые предначертания инициативной группы грузинского университета, приступившей к работе в Петербурге, в канун Великой Революции.

Иван Александрович остается ректором всего семь лет. Затем следует досадный пробел как в его биографии, так и в жизни университета, и большой деятель вынужден ограничиться лишь кабинетной исследовательской работой — не теряя, разумеется, ни одного часа. И его безграничные возможности используются лишь в незначительной степени.

В 1931 году Джавахишвили становится ученым консультантом Государственного музея Грузии — крупного научного учреждения, обладающего богатейшими фондами, значение которых выходит далеко за пределы республики. С 1936 года он возглавляет там отдел истории, но его активная деятельность распространяется на все гуманитарные отделы, особенно же на археологический, получающий от маститого историка много ценнейших указаний.

В том же 1936 году происходит коренной переворот в деле изучения истории и культуры Грузии: в системе филиала Академии наук СССР создается Институт языка, истории и материальной культуры (ИЯИМК) — мощный очаг грузино-кавказоведения, возглавляемый замечательным воспитанником И. Джавахишвили — проф. С. Н. Джанашиа. С самого начала ученым консультантом и этого учреждения приглашается И. А. Джавахишвили. Последний составляет и публикует обширную программу грузиноведческих изысканий на много лет. Следует отметить, что нынешний Институт истории, археологии и этнографии им. Джавахишвили и Институт языкознания, возникшие после раздела вышеупомянутого, ведут свои большие работы согласно этим предначертаниям создателя современного грузиноведения.

Таким образом, в нежданно короткий срок наступает та пора в развитии грузинской науки — благодаря общему подъему республики, — о которой Джавахишвили говорил лет двадцать тому

назад как о чем-то далеком, когда, конечно, имея зрелый университет и необходимые материальные возможности, говорить о втором учреждении с более узкой сферой действия — об Академии наук, «состоящей из ученых в солидном возрасте, умудренных опытом».

И, конечно, Грузинская Академия наук, созданная на базе филиала в 1941 году, к 20-й годовщине Советской власти, в корне отличается от тех буржуазных академий, которые когда-то мыслились как образцы. Ее «сфера действия» как раз очень широка, ибо она плетет от плоти интенсивного строительства социализма, его индустрии и сельского хозяйства; она теснейшим образом связана с ними. В ее институтах ключом бьет молодая научная жизнь, и «умудренные опытом старцы» любовно растят смену — десятки аспирантов и младших сотрудников. Одним из этих «старцев» является Иван Александрович, который в свои 60 лет (в то время еще лишь в филиале) вновь находит применение своим огромным знаниям и мыслям, передавая их молодежи. Его, как и многих представителей того же поколения, воодушевляют выдающиеся хозяйственные и культурные достижения родной страны. Джавахишвили буквально расправляет поневоле бездействовавшие было крылья и, еще раз забывая о подтачивающем недуге, устремляется к привычной сложной, но радостной деятельности.

Составленная им программа, помимо других вопросов, остро ставит и вопрос об интенсификации археологических исследований Грузии. Его никак не удовлетворяет сделанное в этом направлении до 1936 года — тем более, что современное состояние мировой исторической науки делает очевидным невозможность ее дальнейшего развития без больших планомерных раскопок. До этого Ивану Александровичу не приходилось непосредственно участвовать в археологических экспедициях, да и было-то их не так уж много. А с момента создания Грузинского филиала Академии наук СССР складываются условия, исключительно благоприятные для начинающей грузинской советской археологии. Стимулирует это дело и широчайшая подготовка к празднованию 750-летия бессмертной поэмы «Витязь в тигровой шкуре». В 1936 — 1939 годах ведутся раскопки памятников культуры — ровесников поэмы. Общим руководителем всех этих экспедиций является Джавахишвили. Он же возглавляет созданный по его инициативе «Музей Руставели и его эпохи», подготовивший замечательную юбилейную экспозицию и издавший солидный сборник.

Так закладывается фундамент археологии феодальной Грузии, чем до тех пор у нас не занимались.

В 1937 году ИЯИМК приступает к крупным стационарным раскопкам на территории древнегрузинской столицы Мцхета. Блестящие результаты этих работ, ведущихся вот уже почти треть века, известные мировой исторической науке, которая даже может считать себя обогащенной ими. Но нас сейчас интересует лишь следующее обстоятельство: благодаря чрезвычайно ценным результатам уже пробной кампании 1937 года, правительство республики постановляет создать большую Мцхетскую экспедицию под руководством И. А. Джавахишвили. Последний руководит экспедицией с осени 1938 до осени 1940 года, оказавшейся для него последней. Он с молодым увлечением, но с большой методологической точностью разворачивает работы в ряде пунктов Мцхета, систематически выступая в прессе с краткими отчетами и исторической интерпретацией обильных находок, ежедневно пополняющих и без того замечательные фонды музея Грузии.

Но особенно интересными, выдающимися открытиями радует мцхетская земля патриарха грузинской науки в конце октября 1940 года, буквально за три недели до его трагической кончины. У устья реки Армазис-хеви раскопщики обнаружили две замечательные гробницы, принадлежавшие, как выяснилось, фамильной усыпальнице при дворце пнтиахшей или эриставов — вторых после царей лиц античной Иберии. Вскрытие этих гробниц, ведущееся в исключительно торжественной обстановке, запоминается на всю жизнь всем сотрудникам экспедиции — в основном молодым археологам, а также многим из именитых гостей, съехавшимся на столь сенсационное, небывалое открытие.

Иван Александрович руководит подготовительными работами со свойственной ему волевой сдержанностью, за которой то и дело сквозит огромная звольность. Вот из вскрытой гробницы достают один из многочисленных золотых предметов — именной перстень вельможи, похороненного много веков тому назад. На камне портрет владельца перстня, а вокруг портрета — надпись: «пнтиахш Аспаврук». Все в недоумении, ибо привыкшим к данным письменных источников кажется непонятным наличие должности пнтиахша (правителя области) для столь раннего времени — II столетия нашей эры, достоверно указанного сопровождающими перстень монетами.

— Ну, так что же? — слышится невозмутимый отклик руководителя эк-

спедиции. — Если до сих пор и не знали о пнтиахшах II века, вот ведь познкомились с одним из них, и даже в лицо. Так что, отныне будем их знать!

После некоторого раздумья он продолжает:

— Да и вообще, видимо, немало придется заново осмыслить в нашей истории после подобных открытий... В этом то и заключается их огромное значение.

И сразу становится понятным, что этот поистине большой ученый, всегда далекий от ложного самолюбия и косности, непримиримый враг несерьезности, предвзятости и субъективности, подражает в первую очередь необходимостью пересмотра одной своей теории, основанной на интерпретации лишь письменных источников — когда-то единственных для столь далекой дохристианской эпохи. Становится понятным и то, что маститый исследователь только рад тому существенному и многое сметающему коррективу, который привнесут новые, уже археологические источники.

Исключительно характерный штрих!.. Короткий осенний день на исходе. Драгоценные находки упакованы в маленький сейф и уложены в черную «эмку» академика. Он лично везет этот чугунный ящик, знаменующий столь резкий поворот в историографии Грузии, прямо в особую кладовую музея. Прощается с членами экспедиции, радующимся его приподнятому настроению. Прощается «до следующих, еще больших открытий». Увы, этот его приезд оказывается последним: недели три спустя Иван Александрович умирает на кафедре во время лекции, роняя белую как лунь голову перед ужаснувшейся аудиторией.

«Большие открытия» действительно всплывают одно за другим, на том же поле у устья реки, но теперь археологи работают тяжело удрученные: все омрачено неутрахающей болью от сознания, что Иван Александрович ничего этого больше не увидит и что ему даже не довелось узнать о находке двух больших надписей, приобретенных эпохальное значение для истории античной Грузии...

Основоположник новой историографии Грузии

Охарактеризованные выше общественной деятельностью, педагогические и научно-организационные труды И. А. Джавахишвили, разумеется, не составляют единственного содержания его жизни, хотя бы на каком-либо малом отрезке времени. Все годы, начиная еще со студенческой скамьи, Джавахишвили непрерывно творит, пишет, печатает. Он создает том за томом, возводя монументальное здание всеобъемлющей истории Грузии и ее культуры;



настоячиво идет к намеченной еще в юности цели, которой свободно хватило бы большому институту десятилетия на два, на три.

В развитии грузинской многовековой историографии И. А. Джавахишвили является создателем нового этапа. С невиданными до того глубиной и охватом разработал он совершенно заново многочисленные проблемы истории Грузии: осветил экономику, политику, право, идеологию, этику, социальное движение, материальную и духовную культуру. Неугасимое увлечение наукой, огромная воля и благородный патриотизм — все это вместе давало ему богатейшие силы для вспышки «залежной земли» грузинской науки. Он истинный основоположник новой историографии Грузии. Так метко характеризует своего учителя акад. Н. А. Бердзенишвили в годовщину его смерти.

В списке трудов Ивана Александровича числится 90 названий, но более трети их скрывает за собой настоящие фолианты. Подавляющее большинство работ написано по-грузински и ждет издания на русском языке.

Неизменная черта трудов Джавахишвили, по словам акад. С. Н. Джанашиа, это — научно-критический подход к источникам, отказ от наивно-благоговейного, националистического к ним отношения, долго тормозившего научное освещение прошлого. Результатом его историко-ведческих интересов является исследование (1916 — 1926 гг.), состоящее из четырех томов: «Древнегрузинская историческая литература», «Грузинская нумизматика и метрология», «Грузинская дипломатика» и «Грузинская палеогеография» (включающая интересную теорию о происхождении грузинского алфавита).

Джавахишвили, — продолжает С. Н. Джанашиа, — отчетливо уясняет себе, что сословность и партийность древних историков накладывает сильную печать на их точку зрения и делает их пристрастными. Не менее типичная черта этого трезвейшего источника — сознание необходимости изучать историю родины в тесной связи с историей сопредельных стран. И в самом деле, как уже говорилось, он уделяет много внимания рассмотрению иноземных источников. Более того, он заявляет: «Обязанность каждого образованного грузина знать историю своего братского и соседнего народа — армян, многогратадальную, но крайне интересную». Вполне закономерно, что магистерская диссертация Ивана Александровича касается Армении столько же, сколько Грузии, и что в 1935 году в Тбилиси печатается на грузинском языке его книга «Древнеармянская историческая литература».

Критическое овладение, — по словам С. Н. Джанашиа, — огромным фактическим материалом выливается в создание трех капитальных серий, посвященных методичной разработке истории Грузии, самых популярных трудов Джавахишвили. Это «История грузинского народа» в 5 томах; «История грузинского права» в 3 томах; первые два тома «Экономической истории Грузии».

Джавахишвили неизменно привлекает тема социальных движений в Грузии, и ей посвящен ряд работ, охватывающих период от раннего средневековья до XIX века включительно.

В последний период жизни автор предпринимает еще одну серию исследований под общим заглавием «Введение в историю грузинского народа» (историко-этнологические, лингвистические и культурно-исторические проблемы), выпущено два тома. Издано также 2 тома серии «Материалы для истории вещественной культуры грузинского народа» («Строительное искусство»: «Одежда, ткани и рукоделие»; «Вооружение и военное дело»; «Постель, обстановка и утварь»). Отдельно изданы работы по истории грузинского языка и литературы и т. д. Почти все это — издания посмертные.

Для характеристики широчайшего диапазона исследовательских интересов, подкрепленных соответствующими знаниями, следует отметить и такие его труды, как очерк «Вальнеологическое и ингаляционное лечение в древней Грузии»; инициативу и руководство сбором этнографических материалов кустарной промышленности Грузии и — особенно — книгу «Основные вопросы истории грузинской музыки». В последнем автор предстает перед читателями не только как историк, но и как тончайший знаток теории музыки. Вспомним его юношеское увлечение музыкой и отметим, что острый деловой интерес к этим вопросам сопутствует всей его жизни (и когда-то он всерьез подумывал, не стать ли специалистом этого дела). Ведь не секрет, что именно музыка и хореография являются одними из самых ярких, уникальных компонентов духовной культуры грузинского народа, приобретающих поэтому большое значение для всеобщей истории культуры. Естественно, что именно в Джавахишвили находят неизменно чуткого друга и советчика такие выдающиеся деятели культуры, каким был, например, один из основоположников грузинской оперной музыки композитор З. П. Палиашвили, талантливо черпающий богатый материал из бездонной сокровищницы национального фольклора. Закономерно, наконец, и то, что Иван Александрович является первейшим консультантом и



критиком ансамблей народной песни и пляски, во множестве появившихся в Советской Грузии. Ведь этой молодежи и суждено сохранить и рафинировать изумительные творения предыдущих поколений народа, который бережно пронес их даже сквозь мрачные века лихолетья...

Депутат Верховного Совета

И это еще не все, что можно и нужно рассказать — хотя бы бегло — о содержательной жизни и деятельности Ивана Александровича Джавахишвили.

Некоторое время он возглавляет Государственный Ученый Совет республики. С 1921 года является председателем и активным участником Грузинского историко-этнографического общества (созданного его столь же энергичным и разносторонним ученым и деятелем, старшим коллегой Е. С. Такайшвили), членом лингвистического общества. Такое же участие принимает он в разработке грузинской терминологии и норм литературного языка, в подготовительных лексикологических работах. Необходимо подчеркнуть, к слову, что самого Джавахишвили следует считать создателем современного гуманитарно-научного грузинского языка, а все его произведения — образцом богатства, чистоты, академичности и в то же время народности родной речи.

Общепризнанный ученый и деятель, многогранный специалист, Иван Александрович является также частым желанным гостем и консультантом руководящих органов республики. «Этак недолго и кончиться!» — говорит он полудуша, шагая по высоким лестницам разных учреждений, пренебрегая сердечной слабостью; никогда не отказывается от подобного приглашения, действуя соразмерно с чувством долга: «Раз я нужен!..» Именно это чувство и приводит его в тот роковой вечер на свой последний, недочитанный доклад — несмотря на то, что с утра его сильно нездоровится. (Нельзя не вспомнить тут взбодораженное письмо к родным Ваню-студента, в котором он описывает смерть одного из петербургских профессоров на кафедре, происшедшую перед его глазами, и считает покойного счастливейшим человеком...)

И вот — достойная оценка огромных заслуг Ивана Александровича Джавахишвили перед народом, который всегда платил ему безграничной любовью, доверием и благодарностью. В 1938 году его в связи с 20-летием Тбилисского государственного университета награждают орденом Трудового Красного Знамени. В том же году его избирают, в числе лучших сынов Гру-

зии, депутатом Верховного Совета республики. Он член президиума Совета и активно участвует в обсуждении, в основном, проблем просвещения и культуры. «Стараясь добиваться такого освещения этих вопросов, какое достойно Советской Грузии», вносит свою лепту «в то громадное культурное строительство, которое ведется под руководством Коммунистической партии».

Последние годы его жизни озарены радостным созерцанием великих успехов родной страны — начиная с осуждения вековых малярийных гнезд, колхидских болот, и кончая возведением новых белых корпусов столь дорогого его сердцу университета. По верному определению его младшего соратника акад. Г. Н. Чубинашвили, он активно воспринимает все новое в окружающем, как и подобает человеку, всегда идущему в ногу с современностью. Он чутко реагирует на острые проблемы советского искусства и литературы; с одной стороны, резко осуждает безрадостную архитектуру образцов насаждавшегося тогда «конструктивизма», а с другой — по-юному увлекается чтением книги Н. Островского «Как закалялась сталь». Аскет и подвижник за письменным столом, он до конца остается прекрасным семьянином, окруженным любимыми внучатами; отзывчивым, общительным человеком, очень любившим жизнь во всех ее проявлениях.

В 1939 году профессор И. А. Джавахишвили, совместно с коллегами по университету и Грузфилиалу АН СССР, профессорами Н. И. Мухелишвили и И. С. Бериташвили, избирается в действительные члены Академии наук СССР. Это первые работники грузинской науки, получившие право представлять свою родину в высокоавторитетном учреждении в качестве академиков. В частности, Иван Александрович по достоинству вступает в эту академию как выдающийся специалист по истории Грузии, Кавказа и Ближнего Востока, истории культуры ряда советских народов.

Выступая на собрании сотрудников ГрузФАН по случаю его избрания академиком, Иван Александрович еще раз поражает слушателей своей величественной скромностью: все содеянное им он сравнивает с трудом работника, который лишь вырубил кустарник, подготовив почву для посева, и за которым последуют и сеятели, и жнецы — уже работники последующих поколений...

«Ничто так не украшает человека, как труд!» — говаривал Иван Алек-

сандрович. И если можно сказать о ком-либо, что труд не только украсил его, но и сделал его прекрасным, сделал одним из образцов «Человека с большой буквы», так это — об академике Джавахишвили.

Не случайно он избрал эпиграфом к своей книге о древнегрузинской исторической литературе в самом деле замечательные и, видимо, облюбованные

им слова из сочинения средневекового писателя Арсения Амартола: «Велика сила любви, повинуюсь которой, разум держит даже на непостижимом».

Именно эта всесильная любовь к породившему его народу, к его культуре, славному прошлому, светлому сегодня и блестящему завтра придавала неиссякаемые силы разуму и воле этого изумительного человека.

Хроника

ОБСУЖДЕНИЕ ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ» В МОСКВЕ

На очередном заседании Совета по грузинской литературе Союза писателей СССР в Москве обсуждалась работа журнала «Литературная Грузия» за 1965 год.

Редактор журнала «Литературная Грузия» М. Н. Мревлишвили рассказал о работе и планах журнала, круге его авторов, литературных связях, о специфике работы журналов в национальных республиках, выходящих на русском языке, о подготовке журнала к знаменательным датам — 50-летию Великого Октября, к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и 800-летию гения грузинской литературы Шота Руставели.

В обсуждении журнала приняли участие писатели, поэты, критики, литературоведы: Г. Гулиа, В. Шкловский, Ел. Николаевская, Г. Мдивани, С. Ломинадзе, С. Евгенов, С. Куняев, В. Перцов, Э. Ананишвили, А. Турков, Е. Гогоберидзе, С. Ландерс, Б. Черный, А. Антоновская, А. Гладили, М. Квливидзе, Н. Томашевский, Б. Жгенти, И. Гринберг, а также художник Ю. Васильев.

Все выступления носили деловой, творческий характер, были серьезными проанализированы отдельные произведения, печатавшиеся на страницах журнала.

В других выступлениях также было отмечено немало положительных сторон деятельности журнала. С. Куняев говорил о том, что в каждом номере журнала всегда есть нечто интересное, познавательное, чем не всегда могут похвастать московские журналы. В числе находок журнала на совещании отмечалась публикация писем Б. Пастернака, талантливая повесть Г. Леонидзе «Тамада», интересные статьи Н. Тихонова, А. Барамидзе.

Многими из выступавших был высказан ряд критических замечаний в адрес некоторых произведений. Особенно ценными были предложения и пожелания, направленные на улучшение отдельных сторон работы журнала.

В. Шкловский подчеркнул, что журнал «Литературная Грузия» станет более интересным, если он будет развивать на страницах журнала тему «Грузия в Москве», «Л. Толстой о Грузии», будет шире раскрывать тему «Маяковский в Грузии».

Многие из выступавших говорили о художественном оформлении журнала, о необходимости чаще украшать его репродукциями лучших работ грузинских художников. Очень остро стоял вопрос о необходимости увеличения объема и тиража журнала.

Секретарь правления Союза писателей Грузии Бесо Жгенти отметил в своем выступлении, что заседание оставило чувство большого удовлетворения. Итогом обсуждения явится, естественно, дальнейшее повышение художественного качества журнала.

Редактор журнала М. Мревлишвили в заключение сказал, что и высокая оценка работы журнала, данная участниками обсуждения, и проблемы, которые отмечались на заседании, будут учтены редакцией в ее дальнейшей работе.

Владимир ХОМУТОВ

Бережная память ветеранов

На обложке непритязательно изданной книги — символически соседствуют орден Отечественной войны и бронзовый Воин-освободитель из берлинского Трептов-парка, мечом разрубающий паучью свастику. И еще — две даты, огнем и железом запечатленные в наших сердцах: «1941—1945».

Книгу «Грозные годы 1941—1945» (издание Политического управления Закво, Тбилиси, 1965 г.) трудно классифицировать, используя хрестоматийный перечень литературных жанров. Это и сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной, и документальная повесть двадцати авторов — двадцати солдат Родины, насмерть стоявших под вражеским огнем на своих рубежах, и драгоценные свидетельства живых о бессмертных.

И все-таки мы дали бы совершенно определенную жанровую характеристику «Грозным годам»: это песня! Песня, спетая «безумству храбрых», бившихся с гитлеровцами в тяжкую годину войны до последнего дыхания и спасших советскую Отчизну от фашистской чумы. Коллективный автор этой книги — генералы и офицеры в отставке, члены Военно-научного общества при Тбилиском окружном доме офицеров, написали свои фронтовые воспоминания, поинюсясь властному голосу солдатской памяти, чувству ответственности перед теми, кто кровью своей утвердил нашу великую победу. И пусть нет в книге ни четкой хронологии, ни, как говорим мы, военные люди, соответствующего ранжира в распределении глав, пусть порой недостает ей изысканности литературного стиля — есть в книге много простой и бесхитростной правды о войне. И еще — горячей заинтересованности авторов, чтобы каждый известный им эпизод огневых дней и ночей, каждый факт героизма товарищей по оружию, очевидцами которого они были, стал достоянием молодого поколения, зажигаемая его стремлением так же беззаветно служить советской Родине, как служили ей — до последнего удара сердца — герои войны.

Поразительное действие оказывает на читателя эта скромно изданная книжка, созданная людьми, для которых литература вовсе не является делом профессиональным. Начав читать, невольно ощущаешь ее притягательность. Этой книге, насыщенной невиданными фактами войны, бередящей сердце и волнующей ум, может позавидовать иной роман, в коем наворочены «потрясающие» вымыслы. Да, жизнь, запечатленная на 180 страницах «Грозных годов», буквально никого не может оставить равнодушным, она оказалась богаче любого вымысла.

Генерал-майор авиации М. Назаров рассказал нам о самом кануне войны, о первых ударах зловетого фашистского «Люфтваффе» по советской земле, о тех фактах беспримерного мужества наших летчиков, которые отражали яростный натиск черного геринговского вронья. Генерал поведал о подвиге младшего лейтенанта Кокорева, в неравном бою с девятой «юнкерсов» совершившего первый таран, о бесстрашных воздушных витязях Пирожкове и Белякове, дравшихся с гитлеровцами в те минуты, когда Москва, вся наша страна еще и не ведали о начавшейся страшной войне...

Необычайно интересны и поучительны страницы, написанные бывшим командиром 76-й Краснознаменной стрелковой дивизии генералом Н. Таварткиладзе, вставшим вместе со своими бойцами на пути танкового тарана фашистов на подступах к Сталинграду.

В волнующем рассказе защитника крепости на Волге генерала Н. Каладзе особое место занимает эпопея «Дома Павлова». Автор рассказывает, как 12 солдат, оборонявших эту цитадель, ставшую символом стойкости советских воинов (стоит еще раз назвать фамилии бесстрашных: русские Павлов, Александров и Афанасьев, украинцы Сабтайда и Глущенко, грузины Мосиашвили и Степановили, абхазец Сукба, узбек Турганов, казах Мурзаев, таджик Турдиев и татарин Рамазанов), обливаясь кровью, держали свой рубеж, линия обороны которого проходила через их сердца. Ни танковые штурмы, ни жесто-

кие артобстрелы, ни психические атаки эсэсовской солдатни были не в состоянии сдвинуть с места бесстрашный гарнизон, символизировавший собой непобедимость народов СССР, связанных неразасторжимой братской дружбой. Гитлеровцы так и не овладели «Домом Павлова», домом двенадцати Героев Советского Союза.

В воспоминаниях генерала А. Турчинского зримо встает светлый образ генерал-лейтенанта К. Н. Леселидзе, мужественного, талантливого организатора обороны перевалов Главного Кавказского хребта.

Невозможно спокойно читать строки, написанные генерал-майором в отставке И. Силагадзе, командовавшим 392-й Грузинской дивизией, оборонявшей от гитлеровцев рубеж, прикрывавший подступы к городу Орджоникидзе, к воротам Военно-Грузинской дороги, ведущей на Тбилиси. Да, это были тяжелые дни, нелегкие бои и победы, доставшиеся дорогой ценой. Каждая пядь нашей земли, обороняемая этой дивизией, обильно полита кровью. Но верные сыны Советской Родины, солдаты 392-й Грузинской сражались с фашистской ордой как львы. Бессмертье стало уделом героев боев тех дней капитанов М. Бухаидзе и А. Пирмисашвили, не ведавших сграха в суровых битвах артиллеристов М. Чегия и К. Гвалия. Находившийся тогда в боевых порядках дивизии поэт Ираклий Абашидзе впоследствии воспел их подвиги в своих прекрасных стихах. Не забыть мужества политрука В. Канкава, удостоенного звания Героя Советского Союза: он вступил в единоборство с вражескими танками. А кавалер Золотой Звезды капитан В. Луреманишвили, в бою под Нижним Чегемом обретший бессмертье? Неспроста в войсках называли его Тариелом. Преклоняясь перед светлой памятью пулеметчика Гавашели, генерал Силагадзе рассказывает, как самозабвенно дрался этот солдат с врагом у селения Зауково. Он стрелял до последнего патрона по наседавшим на него со всех сторон гитлеровцам, а потом, сбросив свой пулемет в реку, ринулся на врагов врукопашную...

Кавалер ордена Нахимова капитан 3 ранга К. Гукасян досягал свои строки рассказу о тяжелейшем периоде истории Черноморского флота — днях борьбы с гитлеровцами на «Малой земле» под Новороссийском. Читайте их, и невольно всплывает в памяти коллективный подвиг моряков-черноморцев, которые вместе с боевыми побратимами своими — солдатами-армейцами, словно несокрушимый утес, встали перед врагом. Автор вспоминает дорогие имена моряков-героев Иоселиани и Грешилова,

майора Куникова, старшины Куропатникова, старшего лейтенанта Черцова, матроса Бондаренко. Многих из них сегодня нет с нами, но память о бесстрашных, их дела всегда будут нашим общим драгоценным наследством, тем источником, из которого советская молодежь постоянно будет черпать для себя примеры, достойные подражания.

«Герой Советского Союза старшина Николай Гогичайшвили» — так озаглавил свои воспоминания подполковник в отставке Г. Паповян. От первого и до последнего слова, они — о человеке, который славно жил и славно окончил свой век, о солдате, прах которого схоронен на приднепровском берегу в Киеве, рядом с бронзовой чашей, в которой бьется священное пламя Вечного огня на могиле Неизвестного солдата. Схоронен рядом с другими героями нашего народа.

Николай Гогичайшвили... Неповторимое, достойное имя. Да, это он стоял насмерть под Гизелью в октябрьские праздники 1942 года, четверо суток удерживая с горсткой храбрецов одну высоту. За этот бой богатырю присвоили высокое звание Героя Советского Союза. Много подвигов свершил после этого Николай и в том числе самый волнующий — спасение в бою знамени своего полка.

За три недели до Победы он сложил свою голову на поле боя.

С большим чувством написана глава «Дни фронтовые», автор которой, подполковник запаса М. Траскунов, рассказывает, как защищали свою Отчизну сыны Кавказа.

Хорошую, нужную книжку написали воины-ветераны. С пользой прочтут ее вступающие в жизнь советские юноши и девушки. И хотя мы и подчеркивали в начале рецензии, что не собираемся строго судить чисто литературные аспекты этого труда, несколько критических слов сказать все же хочется. Редактура книги могла бы быть более тщательной. Нельзя оправдать имеющиеся в книжке неточности, такие, например, как путаница в написании фамилий прославленных героев (на 90-й странице Герой Советского Союза Грешилов назван то «Гришиловым», то даже «Гришаловым»). Есть немало канцеляризов, вроде: «Я лично работаю сейчас...», «Убитым голосом (?) ответил генерал» и т. д.

Доброе дело сделали ветераны, которые помогли Политическому управлению Закавказского военного округа издать эту книгу; она займет достойное место и в арсенале тех, кому уже сегодня готовить к подвигу молодую солдатскую поросль.

Константи́нэ ГАМСАХУРДИА

Данте Алигьери

І. ВВЕДЕНИЕ

Сколько герольдов человеческой культуры находили источник вдохновения в бессмертных творениях Данте Алигьери! И хотя Данте, подобно Руставели, неизмеримо далек от нашей эпохи, как близок нам этот великий флорентинец своим темпераментом борца!

Ведь что же иное гений писателя, как не утверждение своего бессмертия в памяти людей при умении всегда оставаться глубоко современным? Понимание Данте за пределами Италии, несомненно, осложняется тем обстоятельством, что чуть ли не каждая строфа его поэмы тесно связана с главными моментами истории Италии как тринадцатого столетия, так и предшествующей эпохи.

* * *

Творчество Данте гораздо больше, чем кого-либо из других гениев его ранга, проникнуто историзмом.

Ведь поэзия дает более глубокий анализ и более широкие исторические рамки, чем любая история, написанная в чисто фактологическом плане. В комедии Данте представлена не только история современной ему Италии, но и философия и эсхатология всего античного мира, христианского Рима и раннего Ренессанса.

«Божественная комедия» Данте — фокус разлитых лучей, где лицом к лицу сталкиваются друг с другом различные течения философии античного мира, христианской мистики и арабской культуры, великие идеи раннего Ренессанса и гуманизма. Этот великий флорентинец стоит на таком перекрестке путей, где вышедшее из мрака темных веков человечество с огромным душевным подъемом встречало рассвет духовного обновления, очеловечения и возрождения, провозвестником которого следует признать итальянский Ренессанс. Лишь один век отделяет Данте от Руставели, но он более историчен, чем Руставели. Вернее, он конкретнее Руставели, благодаря своему итальянскому темпераменту, национальному живописанию. Данте гораздо менее доступен для народов неитальянского происхождения. Руставели избрал более счастливую и легкую форму, сходную с грузинским народным стихотворным инструментом. Голосом Данте так же поет Италия, как и голосом Руставели — грузинский народ, но даже высококвалифицированному читателю гораздо труднее глубоко вникнуть в «Божественную комедию», чем в

Мы публикуем этюд Константи́нэ Гамсахурдиа о Данте, предпосланный им в свое время к собственному переводу на грузинский язык «Божественной комедии», с сокращениями. С полным текстом этого этюда русские читатели смогут ознакомиться в очередном томе русского издания собрания его сочинений.

поэму Руставели. Именно поэтому необходимо хотя бы вскользь окинуть взором историческое бытие и обстановку додантевской и современной Данте Италии.

II. ИТАЛЬЯНСКОЕ НАСЛЕДСТВО

История Грузии во многом напоминает историю Италии. Красивейший во всей Европе край — Италия была наиболее несчастной страной на европейской суше.

Канувшая в Лету Римская империя вместе с большой духовной культурой завещала итальянскому народу большое проклятие. Ведь Рим был изначально центром христианской религиозной культуры, и именно эта роль знаменосца христианства опустошила Италию, с давних времен ставшую военным плацдармом соседних народов.

Арабы и испанцы, немцы и французы соперничали друг с другом то в захвате итальянской территории, то в присвоении римской императорской короны, то в овладении папским тронном.

Во времена Данте три сильных государства вмешивались в государственные дела Италии: Германия династии Гогенштауфенов, Анжуйская Франция и Испания в лице арагонских королевичей.

Традицию коронования германских императоров в Риме установил Карл Великий, когда в 800 году н. э., окинув взором развалины древнего Рима, он заставил папу римского короновать его императором в храме св. Петра. Возможно, что восстановление нового цезарского государства возбудило в свое время у Рима большие иллюзии, но история последующих веков стала свидетельницей того, что эти иллюзии не принесли ничего, кроме кровавой бани, ни итальянской нации, ни германской империи.

Еще Грегор IX — римский папа — чувствовал, что коронование германских императоров в Риме предвещало упразднение независимости Италии. Само собой разумеется, папизм не был национально-итальянским институтом, но в истории часто бывает так, что национальная сила борется за достижение своих целей под национальной маской. Гораздо острее, чем римский папа, почувствовали ущемление национальной независимости итальянские города и сам итальянский народ. И вот, Пиза, Лукка, Аст и Милан объединились и начали бороться за свободные коммуны.

В разное время к упомянутым коммунам примкнули и другие итальянские города. В этих городах в течение XI и XII веков не раз разгорался костер настоящей политической революции. В результате этого на итальянской почве возникла не одна городская республика. Конечно, эти республики были совершенно иного социального строения, чем республики в современном понимании.

Изменились времена, и эти республиканские города вновь склонили головы перед императорскими знаменами. Ненациональный папизм продолжал борьбу против аннексий совершенно ненациональных императоров, так как римский папа считал себя «наместником Христа» и стремился не только к духовной, но и к светской власти.

Известно, что борьба пап против светских властей в Европе продолжалась до новых веков; один из пап вступил даже в борьбу с самим Наполеоном Бонапартом. А во времена Данте борьба, разгоревшаяся между папами и королями, жаждавшими императорской короны, породила на итальянской земле две борющиеся между собой не на жизнь, а на смерть партии — гвельфов и гибеллинов. Сам Данте, как и вся

тогдашняя Италия, был поглощен этой партийно-политической борьбой...

Итальянская аристократия, иногда и города, цехи, духовенство и даже представители интеллектуального мира составляли два противоположных лагеря.

Добивавшиеся короны римского императора германские короли двигались на Рим во главе своих войск из ландскнехтов¹ и огнем и мечом покоряли итальянское население. Римский папа большей частью выступал против германских императоров, но порой бывал вынужден пойти на уступки и возложить корону римского императора на голову новоявленного иностранного повелителя.

В 1155 году германец Фридрих Барбаросса двинул на Рим свои войска из ландскнехтов, занял Рим и заставил папу Адриана IV короновать его римским императором. Заставив папу склонить голову, Фридрих Барбаросса приступил к покорению свободных городов. Он разогнал избранных городских уполномоченных и вместо них поставил у власти назначенных им викариев. Он способствовал тому, что против Адриана IV выступили три конкурирующих папы, зажал итальянские города и сословия в железные тиски. Но лига ломбардских городов дала императору сражение в 1176 году под Легалло. Потерпевший поражение Барбаросса изъявил покорность новому папе Александру III.

После Фридриха Барбароссы следует упомянуть Фридриха II Гогенштауфена, так как он был весьма видной фигурой в Италии XIII века. Этот император, многократно упоминаемый в комедии Данте, был весьма типичным представителем тиранической монархии средних веков. Фридрих II обращал на себя большое внимание своим знакомством с искусством и науками. Своей ученостью и религиозным скептицизмом он напоминает Давида Строителя, который хорошо знал астрологию.

Фридрих II получил в наследство по материнской линии корону короля обеих Сицилий. Фридриха постоянно окружали поэты, астрологи, колдуны, маги. Сам он был стихотворцем и занимался черной магией, писал баллады, дрессировал соколов, строго соблюдал рыцарские правила и в то же время занимался политикой.

Фридрих II отлично знал латинский, немецкий, древнегреческий и арабский языки, а также античную философию. В личной жизни он был весьма экзальтированной личностью и исключительным тираном. По одному подозрению он ослепил своего личного секретаря Пьера Девина. Отец завещал ему большую империалистическую мировую политику, арена которой начиналась на севере Германии и кончалась на носке того сапога, на который так сильно похож географический силуэт Италии.

Таков был радиус его политики, измеряемой европейским масштабом. Но Фридрих II и за пределами Европы искал арены для своей деятельности.

В день пасхи 1213 года папа римский разослал циркулярное письмо всем королям и князьям христианского мира. Он потребовал завоевания Иерусалима и «освобождения христовой могилы».

И история возложила на Фридриха II главенство в больших планах замаскированного христианским благочестием европейского империализма.

Взятая на себя инициатива крестовых походов еще усилила высокое римского папы. Его нравственный и политический авторитет

¹ Ландскнехт — воин из крепостных.



и его влияние распространялись от Финикийских берегов до Ирландии, от Сицилии до Норвегии, и даже на заброшенных островах Исландии и Гренландии было много папских посланцев.

В наши дни трудно представить себе ту колоссальную политическую машину, какую представляла собой папская курия. Короли, князья, герцоги и епископы подобно осиновым листьям дрожали перед проклятием «наместника Христа». Папа и католическое духовенство держали в тисках все органы духовной жизни тогдашней Европы: высшие учебные заведения, литературу, философию.

Не только аристократия и вновь народившаяся в Италии буржуазия и привилегированные сословия, но и беднейшие массы были опьянены дурманом клерикальных идей; для гальванизации именно этого простого народа папа римский создал исключительную эластичную организацию шпионов в виде многочисленных нищенско-монашеских орденов. Они пролезали в самую глубь души народа и в то же время с большой точностью проводили папскую политику.

Как раз в такое время получил Фридрих II из рук папы императорскую корону и взамен дал ему обещание возглавить крестовый поход.

Фридрих II воспитывался в Сицилии, и арабская культура оказала на него большое влияние. Папская курия с самого начала позаботилась о том, чтобы удержать Фридриха II под своим влиянием и в этих целях в детстве приставила к нему в качестве попечителя кардинала Сакелли.

В 1220 году папа римский добился от императора привилегий. Император не должен был брать дань с горожан и крестьян, живших на папской территории. Кроме политического соперничества еще кое-что иное не нравилось папской курии в правлении и жизни Фридриха II. Этот император казался папской курии каким-то причудливым типом европейско-арабской помеси.

Фридрих II воздвиг себе в Палермо дворец и беседки, убранные с невиданной роскошью. Его окружали не только немецкие и итальянские ученые, поэты, артисты, но и арабские книжники, астрологи и философы. Фридрих давал переводить Аристотеля с арабского языка на латинский.

Сам Фридрих II написал книгу об искусстве дрессировки соколов и начал изучать анатомическое строение хищных птиц. Разумеется, в те дни даже простое слово «анатомия», дошедшее до слуха папы, не могло не вызвать его гнева. Вдобавок ко всему этому Фридрих II водворил в городе Лукерии гарнизон магометанских войск. Все это ничем не было похоже на поведение монарха, «обремененного крестом христовым».

Папа очень желал вовлечь императора в крестовые походы и поэтому способствовал обручению его с тринадцатилетней дочерью иерусалимского короля де Бриена. Папа тотчас же помазал императора «иерусалимским королем».

К 1227 году у Бриндизи скопилось 60 000 рыцарей и ландскнехтов, и император должен был двинуться во главе их в Иерусалим, но начала свирепствовать страшная чума, истребившая немецких рыцарей и ландскнехтов. Когда крестоносцы добрались до Отранто, императрица должна была вернуться обратно, а сам император заболел (или прикинулся больным) и тоже повернул обратно.

Тем временем скончался папа Гонорий III, и на папский престол взошел 80-летний старец Григорий IX. Папа усомнился в болезни императора и проклял его. Благодаря этому вылилось наружу существующее соперничество между папой и императором, и началась война между гвельфами и гибеллинами.

В этой маленькой монографии я довольно часто останавливаюсь на личности Фридриха II, но это связано с тем, что он является весьма типичным воплощением духовных устремлений раннего Ренессанса. По мнению Фридриха, мистический союз объединяет нации и народы братством «во Христе». Если римский папа стремился к установлению мировой духовной монархии, то Фридрих II был предтечей цезаро-папизма и вообще великоевропейского империализма. Фридрих силился восстановить греческую империю, и в эту империю естественно должны были войти Иерусалим и Египет. Крайние межи этой великой империи должны были простираться от Балтийского моря до монгольских степей. Брунетто Латини характеризует его следующим образом: «Его сердце стремится к совершенно другому предмету, — он хочет стать обладателем и властелином мира».

Фридрих ускорил формирование идеи европейской абсолютной монархии. Он стеснил феодалов и управление в государстве вручил иерархии чиновников.

Известно, как рьяно боролся он против необузданных феодалов и против заправилы католической реакции — папы, но в то же время и итальянским свободным городам и коммунам было не легче. Исполнение тиранической воли этого христианского императора было вверено отрядам из арабов. Само собой разумеется, что этот христианский император полумусульманского, полуазиатского типа представлялся как папе, так и всему клерикальному миру антихристом. Летописцы — сторонники папы изображают его как «еретика, вероломного, жестокого и сладострастного».

Папа Григорий IX так изображает Фридриха II:

«Присмотритесь к этому вырвавшемуся из недр морей чудовищу — из зева его изрыгается хула господу, своей внешностью он похож на барса свирепствующего, бешенством своим он — лев истинный, а когтями своими он напоминает разъяренного медведя».

«Император, — продолжает Григорий IX, — угрожает нам разрушением престола св. Петра, а веру христианскую он хочет заменить обычаями языческих племен».

В 1245 году папский адвокат Альберт да Бега сообщал: «Подобно новоявленному Люциферу он охвачен желанием напасть на бога нашего в небе и вознести свой престол выше светил небесных, чтобы превзойти силой заместника всемогущего господя нашего».

Так характеризовали Фридриха II придворные папы, но зато и придворные Фридриха II — поэты, писатели и летописцы — не хвалили римского папу. В своих саркастических мадригалах они поносили «наместника Христа» и предсказывали конец его властвованию.

Но папа Григорий IX не уставал поносить Фридриха II:

«Он стал таким суесловным, что все, кто почитает всемогущего господя нашего рожденным непорочной девой без зачатия, называют его сумасшедшим».

Так боролся Фридрих II с римской курией.

Но его историческая миссия не ограничивается одной этой борьбой. Известно, что римская церковь с первых же дней своего существования вела неуспешную борьбу с античной философией, искусством и науками. Рукописи древнегреческих и римских авторов сжигались. Преследовались Платон, Аристотель, Демокрит, вся античная философия.

У известного историка искусства Муттера превосходно описано, как снова зарыли в землю случайно обнаруженное изваяние голый Афродиты.

ты, назвав его «изображением дьявола». Завоевание Сицилии арабами сыграло большую историческую роль в ускорении раннего Ренессанса.

Арабы усвоили античную философию, и прекрасное порождение европейского духа — античная культура — снова была возвращена Европе с помощью арабов. В этом отношении ни монголы, ни сельджуки, ни гунны и никакие иные неевропейские племена, вторгавшиеся в Европу, не оказывали такого большого влияния в истории культур европейских народов. Ученые европейского Ренессанса познакомились с Аристотелем через арабских переводчиков и комментаторов.

Двери императорского дворца Фридриха II были открыты как раз для арабских ученых и книжников. Трудно представить себе, что случилось бы, если бы в течение исторических процессов не вырвались те или иные факторы, но все же с уверенностью можем предполагать, что без влияния арабов не мог бы влиться в историю Европы XII—XIII веков обновленный поток древнегреческой культуры, — так крепко были заперты ворота всей Европы римской курией. Этот поток ускорил идейно-культурные процессы, связанные с Ренессансом.

Еще в VIII веке родилась в Багдаде идея свободного научного исследования. Эта тенденция, естественно, вступила в противоречие с догматом непререкаемости корана. Омеяды принесли с собой это движение в Испанию. Очагом этого учения стала кордовская школа философов, и арабский ученый XII века Аверроес стал проповедником этой идеи.

Вовсе не случайно, что поэт-христианин Данте в кулуарах «Ада» рядом с Платоном, Аристотелем и другими прославленными учеными и мудрецами помещает комментатора Аристотеля и великого книжника Аверроеса (см. «Ад», песнь вторая).

Римская церковь объявила Аверроеса родоначальником атеизма. Как Ибн-Туфейль, так и его ученик Аверроес проповедовали равнодушие к религиозным делам. Согласно их учению совесть каждого человека должна быть свободна в познании добра и истины. (Не так уж легко было терпеть такие идеи в средние века.)

И этого «антихриста» Аверроеса и его обоих сыновей приютил Фридрих II в своем Палермском дворце. Отсюда распространились по всей Италии арабский скептицизм, равнодушие к религии и разные рационалистические учения.

Таким образом, изгнанный христианской церковью Аристотель снова вступил на европейскую землю. Весь Запад и Парижский университет познакомились как с философией Аристотеля, так и со всей древнегреческой философией из трудов арабских комментаторов.

Христианская церковь сначала объявила войну Аристотелю, этому «языческому предтече Христа», потом частично приняла его и попыталась переделать на свой лад (Фома Аквинский, Альберт Великий и др.). Аверроес проповедовал несотворимость и неуничтожимость материи. Всякая субстанция в любых формах бытия вечна и непреходяща.

Все это очень интересовало Фридриха. Он сам председательствовал в созданной при его дворе философской академии. Ни один европейский властитель своими политическими принципами мировой гегемонии и своей образованностью так не напоминает Наполеона Бонапарта, как Фридрих II. Беседы Фридриха с восточными учителями мудрости очень напоминают споры Наполеона с учеными, участвовавшими в его египетской экспедиции. Такими же скептическими и эпикурейскими идеями отличались и лидеры императорской партии Фаринатти и Гвидо Кавальканти, которых Данте упоминает в своем «Аде». Когда флорентинские горожане встречались с молчаливо прогуливавшимся Гвидо Ка-

вальканты, они обычно говорили: «Он, наверное, ищет аргументы для доказательства того, что Бог не существует».

Во время своего странствия по аду Вергилий и Данте навешают Фаринатти:

И взор скрестился мой со взором Фаринатти, —
Чело свое подняв и выпятив грудь гордо,
Он лишь с презренным взирал на муки ада.

(«Ад», песнь X)

Находящийся в аду скептик Фаринатти не обнаруживает своих страданий и не скрывает своего презрения к религии.

Видимо, Данте умышленно поместил в аду вместе с Фридрихом II Убальдини и Фаринатти.

Папа настойчиво требовал, чтобы император еще в первую брачную ночь выполнил данное им слово: возглавил крестоносцев. Как знать, больше ли был он заинтересован в освобождении «могилы христовой» или же в гибели императора в назаретских пустынях?

В конце концов проклятый император вынужден был двинуться в Иерусалим. Он даже занял Иерусалим, Вифлеем, Назарет, но, несмотря на это, один английский доминиканский монах именем папы проклял императора. В 1229 году Фридрих вернулся снова в Италию, и опять разгорелась гражданская война между гвельфами и гибеллинами не только в Италии, но и в Германии.

Теперь папская курия подняла знамя борьбы с еретиками. Инквизиция, бросание людей живыми в костер стали повседневными явлениями. Вся Европа стала ареной процессов ведьм, «изгнания бесов» и страшных религиозных гонений.

Мы несколько ниже займемся характеристикой этих явлений. В 1241 году западная Европа очутилась под угрозой нашествия монголов, но несмотря на это несколько не стихала борьба между папой и императором.

Фридрих II теперь главные свои силы направил против лиги городов Ломбардии. Ландскнехты Фридриха один за другим заняли города Виченцу, Падуя, Феррару (1236 г.).

В 1237 году император объединил свои арабские и германские войска и итальянских сторонников императора и в сражении под Кортенуо нанес врагу жестокое поражение.

В этом сражении обнаружились невероятные явления: религиозный момент уже не имел такого значения. Католики с таким же рвением сражались против католиков, как и магометане-арабы. В 1240 году Фридрих занял Анкону, папские владения и сполетское герцогство. Все это — лишь отдельные эпизоды тех великих боев, ареной которых являлась итальянская территория на протяжении многих веков.

В конце концов Фридрих II стал жертвой своей борьбы против папы, и многократно проклятый папой император, оказывается, был задушен своим собственным сыном. И общество средних веков верило, что вследствие папского проклятия погибли сыновья Фридриха: Энцо, Конрад и Манфред и последний отпрыск Швабской династии Конрадин.

В 1246 году в Италию пожаловал Шарль Анжуйский, и это произошло с благословения папы. Его пригласил папа Клемент IV.

В 1266 году Шарль Анжуйский был коронован в качестве короля Апулии и Сицилии. Он нанес жестокое поражение сыну Фридриха II Манфреду в сражении под Кеперано и через два года, благодаря со-



вету Алларда де сен Валери, выиграл войну с Конрадином. И это со- бытие упомянуто у Данте в «Аде».

Известно, что в политической истории средних веков большое значение имели не только религиозные моменты, но и установленные между династиями родственные союзы. Испанец — принц Арагонский Пьер женился на итальянской принцессе Констанце. Через шесть месяцев после этого Пьера Арагонского короновали в качестве короля в Палермо. Но очень скоро настала очередь проклятия и для этого нового короля. Напуганный усилением испанского влияния, папа пригласил в Италию Шарля де Валуа, и в сражении с Валуа Пьер Арагонский был убит.

* * *

Папизм представляет собой совершенно беспримерное явление в истории не только Европы, но и всего мира. С первого взгляда он был целиком духовным институтом и в то же время выполнял величайшую политическую миссию не только в Италии, но и во всей Европе, и во всем мире.

В «Аде» Данте мы встречаем рядом с папами, императорами, епископами, скупыми и развратными аристократами и купцами и алхимиков, астрологов, кудесников и мастеров «черной магии». Для характеристики стиля эпохи необходимо знать о процессах ведьм и бесов и «изгнании нечистого», широко практикуемых в средние века католической церковью. Для нашего века все это звучит далеко и непонятно, но знать об этом необходимо для понимания духовной жизни тогдашней Европы.

Католическая церковь искусственно раздувала мистические представления, чтобы этим путем энергично бороться с рационализмом, который дал знать о себе еще в эпоху раннего Ренессанса, хотя бы среди палермских учителей мудрости и их последователей.

Враг Гогенштауфенов папа Григорий IX в 1233 году обнародовал чрезвычайную буллу (Bulle vox), и в этой булле он угрожал смертью тем, кто свяжется (половой связью) с существующими в виде жаб и кошек бесами, а также с дьяволами величиной с пекарню¹.

Приблизительно такая атмосфера предшествовала в Италии эпохе раннего Ренессанса. Наследием таких темных веков было обременено то время, на фоне которого предстает нам изобразить светлую фигуру Данте Алигьери. Кроме мистико-религиозных и эсхатологических идей в комедии Данте даны острые памфлеты как против светских людей, ведущих большую политику, так и против нравственно опустошенного духовенства. В эпоху Данте начинается идущая усиленным темпом деградация европейского феодального строя. Развитие торговли и промышленности способствовало возникновению нового класса — буржуазии. Более бурно разлагалась клерикальная часть итальянской аристократии. И именно этих аристократов — пап, кардиналов и викариев — поместил Данте в своем «Аде». В этом отношении комедия Данте была своего рода лебединой песней религиозно-феодальной культуры.

Ш. Д А Т Ы

Биографические даты Данте во многом напоминают руставелевские и шекспировские. Исследователи и биографы и здесь большей частью идут ощупью в темноте. И среди исследователей-дантелогов встре-

¹ См. «Из истории человеческой глупости» Макса Кемериха.

чаются такие наивные люди, которые полагают, что большой человек должен обязательно иметь и больших предков, то есть людей знатного рода.

Главные факты своего происхождения и жизни сообщает нам сам Данте; в «Рае» Данте называет своего предка Качиагвидо, которому была присвоена фамилия Алигиери. Император Конрад произвел его в рыцари в 1147 году и взял с собой в крестовый поход.

Один из сыновей Качиагвидо — Белло упоминается в 1255 году в качестве члена Совета. Другой его сын Алигьери II имел четырех сыновей, одним из которых был отец Данте. О нем достоверно известно, что он был женат дважды. Мать Данте называли Беллой, ее генеалогия не выяснена, установлен лишь год ее смерти — 1322.

Проблематичны и сведения о дворянстве Данте. Ясно, что те биографы, которые считают, что большой человек безусловно должен быть и крупным дворянином, всячески стараются как-нибудь представить Данте дворянином. Например, так поступают Боккаччо, Филиппо де Вивани и др. Дживани Вилани отрицает, что Данте был дворянином. Сам поэт в «Аде» (песнь X) иронически упоминает тех людей, которые «никогда не устают хвастаться своим мелким дворянством». Серьезные исследователи отрицают и то, что Данте был потомком франджипанских римских дворян.

Существует фамильный герб Алигьери. Аутентичность этого герба опирается на одну грамоту, которую в свое время забрала Франция. Корабль погиб в пути вместе с грамотой. Фамилия Алигиери в разное время встречается в разной транскрипции — иногда Аллегиери, Алигиери. А венецианское издание Данте, датированное 1521 годом, упоминает Алигиери. В некоторых документах, согласно Францу Ксаверу Краусу, преобладает Аллаг-ерии, Алаг-ериус, иногда и Ал-егерии.

Некоторым исследователям Данте больше нравится фамилия Алдигериус, так как они хотят связать Данте своим происхождением с древнегерманским дворянским родом (сравните с немецкими фамилиями Altgêr (древнегерманское), Altgêr, Altspeer).

Отсюда обыкновенно филологическими средствами даже объясняют эту фамилию (древнегерманское Alt — время и gêr — метательное). Другие фамилию Алигиери толкуют как блеск столетия.

Не установлена фамилия той женщины, которая к фамилии предков Данте присоединила «Алигиери». По мнению некоторых исследователей, эта фамилия происходит из Вероны, другие называют Парму и т. п.

Родился Данте во Флоренции, о чем сам поэт сообщает многократно, но крупнейший комментатор Данте Скартаччини вносит в эту версию нотку сомнения.

И год рождения Данте много раз становился предметом спора. Одни называют 1265, а другие — 1260 год. И среди новых исследователей существуют разногласия насчет даты рождения Данте. Некоторые называют 1267, а большинство — 1265 год. Днем рождения Данте традиционно считается 14 февраля.

«Данте» — это сокращенное Durante (Дюранте — Данте). Во Флоренции и в наши дни показывают путешественникам дом Данте. В настоящее время он превращен в музей. Конечно, победило предание. Из автобиографических замечаний самого Данте ничего не знаем и о том, какие взаимоотношения существовали между поэтом и его родителями. Франц Ксавер Краус полагает, что молчание поэта в данном случае означает, что эти отношения не были особенно похвальными.



Ясно, что это — не аргумент. Данте и Руставели жили в такое смутное время, что мы не знаем, достигло ли нас все то, что они оставили. Если бы даже и дошло до нас все, что написал Данте, разве это означает, что родители Данте не заслуживают похвалы? Данте имел одну сестру и одного брата. Сестра вышла замуж за флорентинца Леоне Поджи и оставила от этого брака много детей. Брата Данте звали Франческо. Установлено, что родители Данте были состоятельными людьми. Сохранились документы с описью принадлежавших им многих домов и имений. Все это потом было отобрано у поэта, изгнанного из родины.

Известно, что Данте был членом совета приоров Флоренции и в это время на него был наложен государственный налог в размере 100 лир.

Вообще в биографии Данте перемешано вместе много действительного, вымышленного, сочиненного и легендарного. Верных и даже вероятных фактов мало и вокруг каждого из них израсходовано немало чернил.

Предание называет учителем Данте Брунетто Латини. Его упоминает и сам поэт в «Аде» (песнь XV). Однако не выяснено, был ли Латини его школьным учителем или вообще старшим другом и вдохновителем в деле овладения науками.

Считается проблематичным — подобно версии о получении Руставели образования в Афинах — будто Данте получил образование в Болонье и Падуе. Сомнительно и то, будто Данте продолжал свое образование в Париже. Из цитат, приведенных в различных местах комедии, видно, что Данте знал кроме латинского языка и живые европейские языки. В «Аде» у Данте встречается одна древнееврейская цитата (Pappe Satan, Pappo Satan allepe); по мнению некоторых исследователей, он, должно быть, знал и древнееврейский язык, но следует признать, что и здесь нельзя сказать ни «да», ни «нет». Из комедии видно, что он превосходно знал риторику, философию и классическую филологию.

В одном месте Данте описывает цех аптекарей. Это дало повод некоторым исследователям причислить и самого Данте к аптекарям¹.

Размежевание автора и героя часто не удается и серьезным исследователям. Данте местами упоминает и моряков, но этого недостаточно для объявления самого Данте моряком.

Вообща в последние века дантелогия так разрослась в Европе и Америке, что некоторые исследователи публикуют уйму курьезов. Например, разгорелась большая полемика, умел ли Данте играть в шахматы и т. п.

Вообще многие биографы Данте утверждают, будто он принимал участие в сражении под Кампальдино в 1281 году (во время выступления Флоренции против Ареццо). В «Аде» поэт описывает (песнь XXI) занятие теми же флорентинцами и в том же году Капроны.

Не существует единогласия среди исследователей жизни и деятельности Данте и вокруг фактов его семейной жизни. Установлено, что в девятидесятых годах XIII века он женился на дворянке Гемме Донати. Этот факт служит дополнительным аргументом для тех исследователей, которые настойчиво утверждают, что Данте был дворянином. От Геммы Донати Данте имел четырех детей. Некоторые утверждают, что жена Данте была очень злой женщиной, часто ее называют Ксантиппой. Этот

¹ Во Флоренции Данте был записан в цех фармацевтов, но возможно, что он был просто приписан к этому цеху. — К. Г.

факт подтверждает и Ксавер Краус: по его мнению, он подтверждает, что Данте в комедии дурно отзывался о фамилии Донати. Но ведь не только в средние века, но и в наше время нередки случаи, когда человек очень любит свою жену, но бранит ее родню. Разве нельзя допустить, что Данте не был дворянином и родственники жены из-за этого могли подтрунивать над ним? Или, может быть, он женился на Гемме Донати без согласия ее родителей и т. п. Всего этого достаточно, чтобы Данте поминал лихом фамилию Донати.

Не установлены и сведения относительно потомства Данте. Бруни утверждает, что у Данте «осталось много детей». Боккаччо по этому вопросу молчит, а Филельфо называет четырех детей: Петрум, Яковум, Алигерум и Елизарум. Пелли же называет семерых детей Данте: Пиетро, Джакоппо, Габриелли, Алигеро, Елизео, Бернардо и Беатриче.

Имеются достоверные сведения лишь о двух сыновьях Данте: Пиетро и Джакоппо. Под именем Пиетро осталось несколько стихотворений, что доказывает, что он был маленьким эпигоном своего великого отца. От Пиетро фамилия Алигьери генерировала по двум линиям. Представителем одной был граф Пиетро Алигьери, который в 1849 году прибыл в Венецию и поселился там. Он скончался в 1895 году. Потомки по второй линии перевелись без наследников в 1549 году. Вторым сыном Джакоппо поселился во Флоренции. Он как будто вернул себе имущество, конфискованное у Данте. Ему приписывают латинские комментарии к комедии. Должно быть, ему же принадлежит один итальянский комментарий к «Аду». Потомство Джакоппо перевелось в 1430 году.

* * *

Прежде чем коснуться деятельности Данте на общественном поприще, надо вспомнить кое-что из истории и выяснить классовые взаимоотношения в тогдашнем обществе. Флоренция — родина Данте — была передовым городом среди городов Италии в борьбе за свободу. Флоренция раньше всех остальных городов сумела перейти от аристократического строя к республиканскому. В конце XIII века, как уже отмечено нами, обострилась борьба между гвельфами и гибеллинами. В 1260 году аристократия захватила в свои руки руль правления, и в том же году Флоренция потерпела жестокое поражение под Монтаперти. Через три года папа Урбан IV пригласил французского короля Шарля Анжуйского. Гвельфы нанесли гибеллинам жестокое поражение и захватили власть во Флоренции. В 1268 году отрубили голову последнему отпрыску династии Гогенштауфенов Конрадину. Так что вместо немцев хозяевами в Италии стали французы. Эти исторические события способствовали активизации самодеятельности народа (Popolo). Это «пополо» было разбито на цехи. Так или иначе организованная масса горожан — недворянского происхождения — стояла против аристократии. В городском управлении существовал такой порядок: во главе народа стоял капитано, а дворяне выбирали подесту. Эти два института несусынно боролись друг с другом. Как подеста, так и капитано, имели по два совета каждый — один большой и один малый. Опорой капитано была народная партия. В эту партию не допускались дворяне.

В разное время римские папы тянулись к обладанию правом назначать как подесту, так и капитано. Народ требовал полной независимости. Он с одинаковым усердием противился как римскому папе, так и императору Германии и королям Франции из Анжуйской династии. Флорентинцы яростно боролись против императорской партии, не щадя в то же время и свою аристократию, состоящую из так называемых гран-

дов. В 1282 году победу одержало «пополо» и верило власть Совету приоров (старших). Коллегия приоров избиралась сроком на два месяца.

В Европе буржуазия возникла в Италии раньше, чем во всех других странах. Городская буржуазия вполне естественно боролась против аристократии, против знати (грандов). Представители высшей знати припрятали свои титулы, чтобы не потерять голосов в городских управлениях. Начались преследования гибеллинов. Зато гибеллины выгнали гвельфов в Ареццо. За этим последовал поход флорентинцев на Ареццо (сражение под Кампальдино в 1289 году). В том же году в застенках умирает граф Уголино, смерть которого так великолепно описана у Данте в «Аде». Во Флоренции народ урезал права подесты. Для аристократии настали плохие времена. Итальянская аристократия своими силами не справилась с народом и вынуждена была обращаться за помощью то к римскому папе, то к французскому королю, то к германскому императору.

На фоне этих настроений разразилась буржуазная революция 1293 года. Именно завоеванием этой революции было усиление «секондо пополо» (чистой демократии) и разгром знати.

Как раз в это время выступает Данте на общественном поприще. Полноправное население строило планы новой жизни. Возводили все новые и новые здания, расширяли площади, прокладывали новые мосты и т. п. Усиление городской культуры выдвинуло ученых и широко образованных людей. Выросла литература, особенно двинулись вперед архитектура и живопись. Как раз эта эпоха породила Брунетто Латини, Джiovани Вилани, Дино Компани, Гвидо Кавальканти и самого Данте.

Из дошедших до нашего времени документов видно, что в 1295 году Данте принимал участие в выборах приоров. В этом же году он — член «Совета ста» и голосует за возвращение изгнанных грандов при условии, что они примкнут к тем или иным цехам. В 1299 году Данте (по мнению некоторых его биографов) является уполномоченным города Флоренции, а через год его избирают приором.

В «Аде» Данте упоминает «черных» и «белых». Эти названия возникли следующим образом. В Пистойи произошел раскол в роду Канчелиеров. Одна ветвь этого рода происходила от Бианки, и поэтому представители данной ветви назвали себя «белыми», а представители другой ветви назвали себя «черными». В Пистойи произошло неслыханное кровопролитие. Волны гражданской войны перекинулись и во Флоренцию. Флорентинцы арестовали главарей обеих партий и заключили их в городскую тюрьму. И здесь возникли «белые» и «черные». Известно, что в средние века партийность увлекала за собой целые роды. Папа Бонифаций VIII считал своими «подданными» как флорентинцев, так и пистойцев. Сам он был беспомощен и призвал на помощь наследника французского престола принца Шарля де Валуа, чтобы тот покончил с кровопролитием.

Партия «белых», к которой примыкал Данте, яростно ополчилась против дипломатического демарша папы. Сохранился документ, из которого видно, что Данте голосовал против папы. В 1296—1297 годах принц Шарль де Валуа был занят войной против Сицилии. Он попросил заем у Флоренции. Данте хорошо видел, что после Сицилии Франция проглотит и Флоренцию, поэтому в «Совете ста» он выступил против Шарля де Валуа.

В 1301 году Шарль де Валуа вступил во Флоренцию с безоружной свитой. Он выступил с речью. Он потребовал от Флоренции заключения

мира. Не успел он сказать это, как его свита молниеносно вооружилась. Подступившие к городским воротам войска Корзо Донати ворвались в город и заняли Флоренцию огнем и мечом. «Совет ста» подвергся аресту, «черные» победили и начали топить «белых» в крови.

Папа следил за этими событиями, как стервятник следит за падалью. Он прислал своего легата и напомнил «белым» и «черным» о «христианском долге». Так потерпело поражение республиканское правительство. Осмелевшая реакция начала мстить своим противникам. Среди побитых и наказанных оказался и Данте. 17 января 1302 года был обнародован декрет об изгнании Данте и его товарищей из родины. Тирании всех времен свойственно прибегать для уничтожения своих противников к несправедливым обвинениям, и величайший сын Флоренции был обвинен в «обмане, взяточничестве и приобретении имущества незаконным путем». Декрет об изгнании был повторен в марте 1302 года. В силу этого декрета поэту навсегда было запрещено жить в своем родном городе.

Ясно, что этим путем реакция стремилась умалить в глазах народа авторитет поэта. Папа и де Валуа отомстили за то, что Данте и его товарищи защищали Флорентинскую республику и противились как папе, так и французской интервенции.

Согласно преданию, Данте и его товарищи снова испытали судьбу, пытаясь силой оружия возвратиться во Флоренцию. Но это предание еще не вышло за рамки вероятности.

Зато гораздо ближе к истине утверждение, что потерпев поражение на политическом поприще, Данте взялся за научную работу. Об этом свидетельствует его великая поэма «Божественная комедия», «Vita puova» и трактат «De Monarchia».

В XVII песне «Рая» поэт дает автобиографические сведения. После изгнания из Флоренции поэт отправился в Верону. Как раз в Вероне познакомился он со своим покровителем Кан Гранде делла Скала. Для Данте начались годы эмиграции. Опять из того же «Рая» узнаем, как «горько стало поэту есть чужой хлеб» и как, оказывается, трудно подниматься и спускаться по чужой лестнице и «не знать, где в этом мире приклонить голову» («Рай», песнь XVII). Согласно преданию, из Вероны Данте направился в Падую, где познакомился с Джотто.

Особенно трудно воспроизводить биографии великих писателей, так как великий писатель в то же время является великим человеком. Такие личности — особенно в средние века — распознавали поздно, большей частью после их смерти. Льющийся от их творчества свет с опозданием восстанавливался в представлении народа, и сочинялись все новые и новые легенды вокруг их личности. Так произошло и с Данте. Он в Италии стал таким же сказочным, как у нас Руставели. Поэтому и сами исследователи жизни и творчества Данте не знают, где кончаются в его биографии действительные факты и где начинаются мифы. Франц Ксавер Краус утверждает, что версия об утере семи начальных песен комедии лишена основания. Трудности связаны не только с установлением фактов, — под именем Данте существует уйма апокрифических писем. Известно, что писатели и переводчики средних веков были весьма искушенными в подобной деятельности.

Со времени начала эмигрантской жизни Данте существует одна характерная легенда: будто Данте во время своего путешествия во Францию очутился — за Альпами — перед одним монастырем. Монах фра Иларий выглянул и спросил странника: «Что вам угодно?» — «Ничего, кроме мира», — ответил Данте. Потом как будто он достал из-за

пазухи фолиант и передал его монаху, сказав при этом: «Вот, из этого вы узнаете, кто я такой» (см. известное письмо фра Илария).

Известный исследователь жизни и творчества Данте Скартаццини отрицает и то, будто Данте на короткое время остановился в Форли и здесь стал секретарем Скарпетти Орделафи.

Древнейшие биографы Джiovани Вилани и Боккаччо сообщают, что поэт, странствовавший по северо-западу Европы, оставался в Париже несколько лет и там усердно изучал науки в Парижском университете. И это сообщение не выдерживает особенно строгой критики, но то место «Ада», где поэт описывает Рону, спускающуюся к Арле, дает основание думать, что поэт, должно быть, действительно побывал во Франции. Скартаццини считает эту версию допустимой, а английские исследователи Данте Берлоkk, Племпт, Теффи и Вернон утверждают, что в тот период Данте побывал и в Англии, и Фландрии. Англичане опираются большей частью на комедию. Но в комедии, как известно, Данте упоминает и Африку. Что же из этого следует?

Коротко: дантелогия не располагает достаточными сведениями о том, где и как провел Данте несколько лет после изгнания из родины. И здесь гипотезы, вероятные предположения и легенды преобладают над документами.

* * *

Вернемся теперь к политической обстановке в Италии. В 1309 году в Аахене короновался Генрих VII. Как известно, Римскую империю германской нации Фридрих II унес с собой в могилу. Генрих VII захотел оживить этого «покойника», то есть восстановить империю. Он немедленно поспешил в Италию и в 1311 году в Милане возложил себе на голову императорскую корону. В том же году, оказывается, Данте обратился к императору с письмом.

Племпт уверяет, что Данте должен был иметь с Генрихом VII личные сношения. По его утверждению, они встретились в Парижском университете, где находился и брат Генриха — Бодлевин. Названный ученый придает значение и тому факту, что мать Генриха звалась Беатриче. (Нужно отметить, что некоторые биографы полностью отрицают не только факт дружбы Генриха и Данте, но и аутентичность писем Данте к Генриху.) Поэт явился к императору в Милане, но когда, оказывается, император поспешил со своими войсками во Флоренцию, поэт-патриот удалился от императора, чтобы не быть участником чужеземного завоевания его родины.

Напуганная интервенцией Генриха Флоренция в 1311 году издала одну за другой следом две амнистии, но ни одна из них не коснулась Данте.

И римский папа был встревожен интервенцией Генриха, но он видел, что император точит зубы на Неаполь. В августе того же года Генрих VII был отравлен, и германской интервенции был положен конец.

Данте видел в Генрихе VII вдохновителя мировой монархии, поэтому ясно, что неожиданная смерть императора должна была свернуть крылья и политическим упованиям Данте.

Данте начал писать свою «Дивина комедия» в 1313—1316 годах. Много городов Италии приписывает себе покровительство и гостеприимство в отношении Данте, но и здесь легенду и действительность трудно отличить друг от друга.

Установлено с достаточным основанием: в 1314 году он жил в городе Лукке и имел там романтическую связь с некоей Джентуккой. Но

никто не знает, кто была эта Джентукка. Называют двух женщин: Джентукку дон Фатиннели, которая по мнению некоторых биографов могла быть возлюбленной Данте, и Джентукку Морла. Скартаццини совершенно неосновательно утверждает, что поскольку Данте в это время было 49 лет, у него не могло быть любовной связи ни с одной из этих женщин.

1315 годом датирован один акт, подписанный неаполитанским королем Робертом, в котором в числе других преданы проклятию Данте и его сыновья как «гибеллины и разбойники». Им было запрещено показываться в окрестностях Флоренции. Этим актом поэт и его сыновья объявлялись вне закона. Совершенно непонятно, почему должны были попасть в список изгнанных сыновья Данте. Некоторые исследователи полагают, что они, должно быть, находились вместе с отцом в войсках Генриха VIII.

В 1316 году обнародованная Флоренцией амнистия коснулась и Данте и его товарищей, но этим актом милости они уравнивались с грабителями и разбойниками. Они должны были явиться к властям, некоторое время побыть в тюрьме, после чего согласно древнему обычаю на них должны были надеть шутовские колпаки, всучить им в руки зажженные свечи и подвести к какой-либо иконе, а затем, после многих издевательств и поношений им предоставили бы свободу. Боккаччо сообщает, что товарищи Данте приняли эту собачью милость, но Данте был настолько горд и независим, что предпочел голод и бедствия эмигрантской жизни.

В 1316—1317 годах властитель Равенны Гвидо да Полента сжалился над странствующим по всей Италии и бесприютным поэтом и дал ему убежище.

Для характеристики средневековой человечности и личности самого Данте упомяну об одном курьезном факте, который установлен по опубликованному в 1895 году документу, извлеченному из Ватиканского архива. Миланский тиран Маттео Висконти пожалел как-нибудь — тайными средствами — убить папу Иоанна XXII. Некий Доминикус Скоттус — маг — преподнес ему серебряное изваяние голого папы. На лбу этой статуи было написано: *Jacovus papa Iohannes*, а на груди: *Amatum*.

В средние века верили, что если заколдовать изваяние какого-либо лица и послать его ему же, то его обязательно слазят и он умрет. Маттео Висконти приступил к поискам кудесника, он позвал к себе некоего Бартоломео и обещал ему много денег, если он заколдует изваяние папы. Бартоломео отказался, так как он, оказывается, не знал этого «искусства». Таким образом, Маттео не сумел убить папу, и к делу приступил его сын Галлеаци Висконти. С этой целью он позвал некоего Консолатти и поручил ему заколдовать изваяние папы, добавив при этом, что для этого он вызывал Данте как знатока естествознания и многих тайных искусств, но тот, несмотря на свою враждебность к папе, отказался принять участие в убийстве папы. Этим же актом подтверждается, что и Данте, подобно Петрарке, впоследствии пользовался известностью как кудесник.

Примечательно и то, что сам тиран не решился задеть нравственную чистоту поэта, так как ясно, что Висконти легко мог бросить Данте в тюрьму из-за одного только такого ответа.

Точно не установлено, постоянно жил или нет Данте в Равенне в 1316—1321 годах. Рекко д'Асколи преподавал в Болонском университете астрологию. Его писания подтверждают, что Данте имел с этим астрологом личные сношения и переписку. В своем дидактическом стихотво-

рени «Асерб» д'Асколи полемизирует с Данте и даже посмеивается над ним. Д'Асколи был обвинен духовенством в ереси и его даже сожгли в 1324 году.

Чем занимался изгнанный из родины поэт в Равенне? Боккаччо и Скартаццини утверждают, что Данте преподавал в Равенне поэтику и риторику (*Lettere de retorica*). В настоящее время в Равенне существует улица Данте — *Via Dante* — где один из домов считают принадлежавшим Данте.

Установлено, что супруга Данте Гемма Данте оставалась после изгнания Данте во Флоренции. Пиетро и Джакоппо жили вместе с отцом. Дочь Данте Беатриче — согласно Боккаччо — позже присоединилась к отцу, а после его смерти стала монахиней.

Годом смерти Данте традиционно считается 1322, хотя точная дата его смерти вызывает разногласия¹.

По сообщению некоторых современников, поэта похоронили с такой помпезностью, какой обычно удостоиваются лишь цезари. По сообщению Боккаччо, Данте умер на 56 году жизни. Тот же Боккаччо утверждает, что Гвидо Новелло произнес на похоронах Данте длинную патетическую речь.

В течение XVII века могила Данте была почти забыта². В свое время Ариосто, Тассо и Маккиавели посетили его могилу. В XIX веке лорд Байрон прибыл в Равенну и оставил в склепе Данте сборник своих стихотворений. И Гарибальди засвидетельствовал в Равенне свое почтение к Данте.

Лишь в XIX веке забыли папы оскорбления, нанесенные ими Данте. В 1897 году папа Пий IX посетил могилу Данте.

Странная судьба постигла и останки Данте. Ни один великий европейский писатель не перенес столько гонений и страданий, сколько перенес Данте при своей жизни. После смерти поэта преследовались его сочинения. В 1324 году по приказанию кардинала-легата Бертрана дел Поджетоса был сожжен трактат Данте «*De Monarchia*». Тот же кардинал желал сжечь и останки Данте, но, по словам Боккаччо, благодаря вмешательству флорентинца Поноделла Тоска и других разумных лиц останки поэта уцелели. Но другая опасность подстерегала истлевшие кости поэта. Когда «*Дивина комедия*» была опубликована и флорентинцы поняли, какого человека выдворили они из родины как «вредителя» и «разбойника», Флоренцию охватило беспокойство. Поэтому с XIV по XIX век Флоренция оспаривала у Равенны останки поэта. Переписка продолжалась целое столетие. В XVII веке в дело вмешался папа Леон X, и флорентинцам было разрешено перенести останки Данте во Флоренцию. Вскрыли могилу, но в ней ничего не обнаружили, кроме лавровых венков. Судьба не оставила Данте в покое и в могиле. Начались поиски останков поэта в Равенне. В 1865 году близ саркофага Данте произвели раскопки и обнаружили деревянный гроб с надписью: «*Dantis Ossa Anno 1677. 7/X.*» (Останки Данте, 1667 год, 7 октября).

Ученые-анатомы приступили к исследованию. Вес нижней челюсти и зубов составил 760 граммов. Череп сличили с посмертной маской поэта (один из ученых высказал сомнение в принадлежности черепа Данте).

¹ Скартаццини утверждает, что Данте умер в 1321 году.

² Существует приказ предводителя ордена францисканских монахов, чтобы ни один из монахов не прикасался к могиле Данте.

Возможно, что и в самом деле утеряны останки Данте, но человекство никогда не утерять его неуязвимые труды, и творения поэта всегда более неистребимы, нежели его кости.

IV. БЕАТРИЧЕ

Среди исследователей жизни и творчества Данте сама муза Данте и первая его возлюбленная — Беатриче до наших дней остается поводом для горячей полемики. Действительных и детальных сведений по этому вопросу очень мало, если не иметь в виду те места в произведениях Данте, где сам поэт упоминает о своей возлюбленной и о своей пламенной любви к ней.

Имя Беатриче — одно из основных начал творчества Данте, и возникшей вокруг имени Беатриче полемики достаточно для подтверждения того, с какими трудностями связано точное и действительное познание прошлого историками.

Согласно «Новой жизни», Данте — 9-летний поэт впервые встретил 8-летнюю Беатриче.

«Она была одета в чудесное, кровавого цвета красное одеяние, была прекрасна и застенчива, привлекательна, нарядна и была украшена так, как это подобало ее детскому возрасту» («Вита нуова»). Этот день Данте считает днем своего нового рождения. После этого поэт воспламенился любовью к Беатриче. Прошли года, и восемнадцатилетний Данте вновь встречается неожиданно с семнадцатилетней Беатриче. Из уст возлюбленной послышались поэту слова приветствия. Но сплетники маленького города догадались о любви юноши, и застенчивая Беатриче перестала удостаивать поэта словами приветствия. Проходит еще несколько лет, и у Беатриче умирает отец, а в 1290 году в 24-летнем возрасте умирает и сама Беатриче.

Вот и все фактические сведения о безнадежной любви поэта к Беатриче.

Перед исследователями жизни и творчества Данте возник вопрос: кто была эта Беатриче? Действительно ли существовала она? Или это — аллегорическое имя?

Раньше всех реальность Беатриче отверг Джовани Марко Филельфо. Габриели Росетти объявил Беатриче эмблемой германо-римской империи. Франц Перец изобразил ее в качестве символа активного разума.

Итальянский историк литературы Адольфо Бартоли создал целую гипотезу. И он отрицает реальность Беатриче и признает ее символом вечно-женственного. Исследователь жизни и творчества Данте Г. Гитманн идет еще дальше, изображая Беатриче символом церкви (по поводу этой церкви очень остроумно пошутил Скартаццини: если и церковь способна изрекать или не изрекать приветствия, то хороша же эта церковь!).

Скартаццини с большим усердием полемизирует с авторами этих странных теорий и отрицает как эмблематичность Беатриче, так и возможность того, будто Беатриче является вымышленной фигурой, сочиненной лишь поэтической фантазией в различных пассажах «Новой жизни» и «Божественной комедии». В качестве основания Скартаццини ссылается на то, что Данте изображает Беатриче в «Вита нуова» в человеческих штрихах, описывает ее одежду, цвет одежды, выражение лица, поведение. Ясно, что это несколько не опровергает мифичности Беатриче, возможности того, что она вымышленна. Разве вымышленные Боккаччо, Бальзаком, Стендалем и Мериме персонажи описаны с мень-

шей яркостью, разве один десяток «вымышленных лиц» описывали поэты в своем творчестве, да и сам Данте в своей комедии?

Главное в этом вопросе нужно искать не в этом. «Вита нуова» является автобиографическим произведением вроде хотя бы «Поэзии и правды» Гете. Когда автор пишет автобиографию, у нас нет основания обязательно скептически относиться к его показаниям относительно близкой ему личности. Разумеется, если довериться крайнему скептицизму и вообще никому ни в чем не верить, то человек может усомниться и в том, кто является его отцом. Если следовать такому скептицизму, то никакой реальности не останется не только у Беатриче Данте, но и у многих других муз великих поэтов. Да и кто вообще называет свидетелей для легитимации личности своей возлюбленной?

Чрезмерный скепсис может привести к такой странной «теории», которую выдвинул один французский генерал, утверждавший, что Наполеон не был реальным человеком. Для доказательства ирреальности Беатриче недостаточно и того довода, что Данте в своей «Вита нуова» описывает Беатриче в ультрапатетическом стиле. Например, в главе девятнадцатой о Беатриче говорится: «Она так очаровывала людей, что проходившие мимо нее останавливались, образовывая толпу, чтобы посмотреть ей прямо в лицо, и это наполняло мое сердце удивительной радостью. Всякий, кто приближался к ней, проникался такой почтительностью, что не смел поднять голову и ответить приветствием на приветствие».

Разве не мог влюбленный поэт писать так о возлюбленной своего сердца?

В одной из канцон Данте называет даже ту улицу, где «родилась, жила и умерла Беатриче». В той же «Вита нуова» Данте выражает надежду, что увидит свою возлюбленную в «ином мире сияющей вечной красотой». Несомненно, что сведения, даваемые Данте в «Вита нуова», относятся к определенной личности, а не к эмблеме добродетели, церкви, философии и т. д., так как не существует никакого довода в пользу того, чтобы они были отвергнуты и чтобы последующие упоминания о Беатриче во всех трех книгах «Божественной комедии» считать лишь отдаленной идеализацией. Читатель найдет в тридцатой песне «Чистилища» довольно пространные сведения об ее внешнем виде, о ее реальных похоронах.

В этой же связи перед исследователями жизни и творчества Данте возникли и такие вопросы: кто была эта Беатриче, действительно ли ее имя было Беатриче или этим именем поэт назвал какую-либо другую конкретную личность? Боккаччо сообщает, что Беатриче была дочерью ближайшего соседа Данте Фолько Портинари. К этому он еще добавляет, что об этом ему сообщило одно «заслуживающее доверия» лицо. По этой версии Беатриче будто бы была женой некоего Кавалиере Симоне Барди. Боккаччо справедливо упрекают за несурзность его сообщения: если Беатриче действительно была дочерью ближайшего соседа Данте, то почему он впервые встретил ее лишь через восемь лет после ее рождения? (В сообщении Боккаччо указывается и расстояние между соседями — около пятидесяти шагов). В «Вита нуова» есть одно сообщение по этому вопросу, где Данте глухо намекает на то, что ее многие называли Беатриче и не ведали, почему так называли. Ясно, что на основе этой довольно темной, может быть, косвенной фразы нельзя с уверенностью утверждать, что Беатриче не было действительным именем той девушки, которая являлась первой возлюбленной Данте (как это утверждает Скартаццини). Одни утверждают, что, возможно, в XIII веке Данте по примеру древних поэтов, сам назвал свою возлюб-

лennую Беатриче. Конечно, это возможно, но нельзя считать невозможным и то, что, напротив, девушку действительно называли Беатриче.

То, что дочь Фолько Портилари не была той Беатриче, которую воспевает Данте, видно и из размышлений над сообщением Боккаччо. В настоящее время точно установлено исследователями-дантелогогами, что во времена Данте действительно существовала во Флоренции дочь Портилари — Беатриче. Следовательно, утверждение Скартаццини, что если бы даже возлюбленная Данте и называлась Беатриче, он не разгласил бы ее действительного имени, нельзя признать особенно убедительным, так как Данте вместе с именем своей возлюбленной не разгласил и ее фамилии, а во Флоренции, вероятно, были и другие девушки, которые носили это имя.

По версии Боккаччо Беатриче была замужем, а Беатриче Данте умерла незамужней (см. «Чистилище», песнь XXX). Она, напротив, упрекает поэта за измену.

Во всяком случае следует отметить и то, что даты смерти обеих Беатриче довольно близки друг другу. Беатриче — дочь Фолько Портилари — скончалась 31 декабря 1289 года, а Беатриче Данте — спустя пять месяцев, 9 мая 1290 года.

Ясно, что для нас, интересующихся духовным наследством Данте, не имеет существенного значения вопрос, была ли Беатриче дочерью Фолько Портилари или кого-либо из других флорентинских семейств. Главное состоит в том, что с именем Беатриче связано все творчество Данте, которое из мрака тринадцатого века освещает наши сердца вечно пламенеющей огненной денницей.

V. ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА

В истории Италии тринадцатый век известен острыми политическими столкновениями и борьбой. Ясно, что эти столкновения и борьба имели социально-экономическую основу, но в моменты сильного обострения борьбы политические партии были лишены идейного бескорыстия и принципиальности. В такую темную эпоху, когда внешний враг угрожал Италии опустошением, жизненная энергия страны расходовалась на прекращающуюся борьбу партий.

Партиями двигали преимущественно родовые и личные интересы. Ведь главные партии — гвельфы и гибеллины — были расщеплены внутри себя, первая — на «белых» и «черных», а вторая — на «зеленых» и «сухих». Известно, что само разделение жителей города Флоренции на партии гвельфов и гибеллинов было вызвано весьма незначительным поводом: один молодой дворянин нарушил слово, данное им своей невесте. Вследствие этого возникла вражда между родней жениха и родней невесты. Разделение на «белых» и «черных» также было следствием родовой вражды, началось оно в Пистойи и перекинулось на Флоренцию.

Смуты своего века и создавшийся в Италии политический хаос с потрясающей остротой выразил поэт в шестой песне «Чистилища»¹:

Италия, раба, скорей очаг.
В великой буре судно без кормила.
Не госпожа народов, а кабак. (76—78)

¹ Начиная отсюда, цитаты из «Божественной комедии» даются в переводе М. Лозинского.

А у тебя не могут без войны,
Твои живые и они грызутся,
Одной стеной и рвом окружены.

Тебе, несчастной, стоит оглянуться
На берега твои и города —
Где мирные обитатели найдутся? (82—87)

Ведь города Италии кишат
Тиранами, и в образе клеветра
Любой мужик пролезть в Марцеллы рад. (124—126)

В мировой поэзии никто еще не говорил таких горьких слов по адресу своих современников и никто еще так беспощадно не избличал своего собственного народа.

Но у Данте были основания для серьезного недовольства. В истории других народов трудно найти примеры такой почти не прекращавшейся истребительной гражданской войны, которая характеризует Италию XIII века. К концу этого века, к периоду гражданской и политической зрелости Данте эта смута еще более обострилась.

В XIV и XXIV песнях «Чистилища» Данте изображает нам отражение этих гражданских войн. В эпоху таких больших кровопролитий Данте приходилось нести тяжелый крест своего творчества. Он не был пассивным созерцателем своей эпохи и сам вел мужественную борьбу.

Папа боролся с германским императором, государство и церковь схватились друг с другом в смертельной борьбе, и эта борьба продолжалась и после смерти Данте.

Лучший знаток жизни и творчества Данте Скартаццини убедительно доказывает, что сам Данте не был ни гибеллином, ни гвельфом, как это понимали его современники, вопреки утверждениям Боккаччо, будто «предков Данте дважды выселяли из родины, причем выселяли их гибеллины как гвельфов, а сам Данте дважды возглавлял правительство Флоренции».

В данном случае красноречивее свидетельство современников трактат самого Данте «Де монархия», в котором он занимается апологией «помазанника», то есть императора. И его бессмертные строки в VI песне «Чистилища» являются достаточным аргументом. Для Данте было все равно, кем был бы такой император по происхождению — итальянцем или из какого-либо совершенно иного племени.

Существует большая литература и идет горячая полемика также вокруг вопроса о том, был ли Данте гвельфом или гибеллином. Дело в том, что сами эти понятия в 1300 году уже имели другое значение, чем во времена Фридриха I и Фридриха II. Некоторые биографы считают сомнительным и то, означали ли гвельфы и гибеллины партию церкви и партию императора. Дел Лунго утверждает, что Данте и его предки были гвельфами и что Данте никогда не становился гибеллином, и лишь современники окрестили его гибеллином.

Если собственному творчеству поэта придать больше значения, чем свидетельству современников, то в VI песне «Чистилища» и в VI песне «Рая» Данте достаточно крепко бичует обе партии. Ведь возможно и то, что Данте сначала был гвельфом, потом стал гибеллином, а в конце концов оставил обе партии. Разве в истории мало примеров того, что одно и то же лицо в течение продолжительной жизни меняет свои взгляды? Не раз случалось и так, что теория и практика писателя диаметрально противостояли друг другу.

Скартаццини настойчиво защищает следующее положение: «Данте первоначально был гвельфом, но в результате исследовательских занятий после смерти Беатриче и глубокого изучения истории пришел к апо-

логии гибеллинов, а под конец жизни он повернулся спиной к обеим партиям¹.

Приведенные строки из «Рая» бесспорно могут служить аргументом в пользу этого утверждения. Неизвестно, при каких обстоятельствах оставил Данте партию гвельфов, — и в этом случае исследователи его жизни обходятся лишь предположениями, и выдвинуто почти столько теорий, сколько исследователей коснулось этого вопроса.

Как уже отмечено, много разногласий вызывают и сами понятия «гвельфы» и «гибеллины». Скартаццини поясняет: по убеждению гвельфов, римский папа был исполнителем земной воли господя, и император становился его соучастником единственно через посредство папы. По учению гибеллинов, как небесная, так и земная власть ниспосланы богом, и поэтому император относится к папе не в порядке субординации, а в порядке координации. Это означает, что император не должен подчиняться папе, а оба они должны быть соучастниками единой суверенной власти.

В связи с этим может возникнуть сомнение у некоторых читателей. Могут подумать, будто Данте был глашатаем империалистической политики германских императоров. Это обстоятельство даже использовалось в разное время историками — апологетами пан-германского империализма. Верно, Данте представлял себе современную ему Италию как «сад империи» («Чистилище», песнь VI, стих 105), но основным столпом этой империи Данте мыслил саму Италию, а не Германию. Границы же своей Италии определены Данте в «Аде», песне XX:

Там, наверху, в Италии прекрасной,
У гор, замкнувших Манью рубежи,
Вблизи Тиралли спит Венако ясный. (61—63)

Там же в «Аде», песнь VIII, строки 113—116:

И вижу лишь пустынные места,
Исполненные скорби безутешной,
Как в Арле, там, где Рона разлита,
Как в Иоле, где Корнато многоводная
Смыкает Италийские врата.

По существу Данте является основоположником идеи «Единая Италия», величайшим борцом за которую в прошлом столетии был Джузеппе Гарибальди. Поэтому справедливо заметил Мадзини, что Италия воплотилась в Данте.

VI. ДАНТЕ И РЕНЕССАНС

Понятие Ренессанса и само это название утвердил немецкий историк культуры Яков Буркхардт в своем эпохальном труде: «Культура Ренессанса в Италии». Само слово заимствовано Буркхардтом у французского историка Жюлья Мишле из его «Возрождения античного учения», а также «Открытия мира, открытия человека».

Вольтер и Монтескье также упоминают это слово, но в совершенно ином значении, чем Буркхардт. Это понятие родилось в Италии, во Франции оформилось слово и посредством упомянутого труда Буркхардта нашло распространение в трудах и исследованиях по истории

¹ В этом контексте заслуживает внимания стих 68 песни XVII «Рая», где Данте встречается со своим предком Каччагвидо, и тот говорит ему: «...И будет честь тебе, что ты остался сам себе клеветом».



Ренессанса в Италии. Историк итальянской живописи Вазари **упоминает** в свое время это слово как новое рождение, возрождение.

Вазари упоминает об этом, когда говорит об искоренении в итальянской живописи безжизненной греко-византийской манеры живописцами Чимабуе и Джотто. Ясно, что эта тенденция отрицания мертвого догматически-христианского искусства, любовь к природе, пробуждение человека, оцепеневшего от христианского аскетизма, и открытие человека и мира составляют общую силу и общий атрибут Ренессанса. Это движение, как увидим, коснулось не только Италии, оно было общеевропейским культурным и артистическим движением, которое распространилось на Ближний Восток как в живописи, так и в архитектуре. Во всяком случае крупнейший знаток культуры Ренессанса Бурдах признает, что Ренессанс был и остается теоретическим, в первую очередь литературным и артистическим устремлением. Такова история этого слова. Но откуда возникло в истории итальянского, а затем европейского народов само понятие «нового рождения»? Очевидно, от евангелиста Иоанна и от древнегреческих мистерий. Вообще древнегреческий мир многократно упоминает о «новом рождении». И в религиозной фантастике Европы средних веков неоднократно встречается это понятие. Маккиавели в своей политической истории Италии описывает политическую революцию, зачинателем которой был Кола ди Риенцо. После изгнания сенаторов «Рим родился снова».

Ясно, Джотто представлял итальянское искусство как единую цепь развития от древней Греции до современности, а в политической истории Маккиавели полагал, что современный ему Рим был продолжением античного города Рима, Рима цезаревских времен. Поэтому обоим им понадобилось понятие «нового рождения».

В Откровении Иоанна: «И узрел небо новое, и мир новый, так как небо то первое и мир тот первый погибли» (Откровение 9, гл. 10) перекликается с античной мифологией, хотя бы с мистерией возрождения Диониса, а также с историей плотского умерщвления Христа, его воскресения и вознесения на небо, с версией о новом возрождении Иерусалима и т. д.

Идеал такого обновления, рождения заново был укоренен во всех областях жизни Италии времен Данте. Если в живописи Джотто считался тем, кто провел первую борозду этого «возрождения», то в религиозных делах Франциск Ассизский проповедовал необходимость обновления уже заплевневшей церкви. Томазо да Челано часто упоминает «обновление». Джак-поно да Тоди стремился к реформированной, возрожденной и одухотворенной церкви.

Томазо да Челано в своих экзальтированных гимнах часто упоминает новые порядки и новые законы, новую жизнь. Таким образом, во всех сферах жизни Италии как в предшествовавшую Данте, так и современную ему эпоху, национальная энергия итальянского народа была проникнута великой жаждой обновления, возрождения, рождения вновь. Устарели и были расшатаны старые фундаменты государства, и жаждой обновления бились сердца ведущих сынов народа.

Само собой разумеется, сильнее всего, острее всего испытывали боли и упования на будущее устремленной к этому обновлению Италии поэзия, литература.

* * *

Теперь считаю нужным несколько отступить от темы и хотя бы приблизительно ознакомить читателя с тем, что представляли собой итальянский язык и литература до Данте.



В семье латинских языков (французского, испанского, итальянского) больше всех запоздало формирование итальянского языка. Несомненно, здесь большую роль сыграло то обстоятельство, что и после разрушения латинской империи латинский язык продолжал существовать на всем протяжении средних веков, и он затеял итальянский язык. В XI и XII веках юг и север Франции имели весьма развитую поэзию, а в Испании уже была создана поэма «Сид»...

Итальянский язык сформировался из различных латинских диалектов, которые назывались романским крестьянским языком. Во взаимной борьбе этих диалектов верх одерживает тосканское наречие, которое Петрарка и Данте утвердили в качестве итальянского литературного языка в поэзии. Тосканский или флорентинский диалект стал литературным языком итальянской прозы, поскольку и Боккаччо писал на этом диалекте.

Как я уже отметил, в данном случае фатальную роль сыграл латинский язык, а также претензии Рима, стремившегося остаться вечной столицей вечной империи («Этерна Рома»). Город Сципионов и цезарей вновь мечтал возродиться в качестве города цезарей, и к этому же были направлены политические иллюзии Кола ди Риенцо. Кроме того Рим был религиозным центром папской курии, которая, будучи одурманена иллюзией цезаро-папизма, продолжала считать город Рим столичным городом всего мира. Языком этой колоссальной махины был латинский, и просвещенные итальянцы считали его и своим языком, в то время как крестьянство говорило на «рустиканских» диалектах.

Под влиянием этой народной речи пошатнулись кристалличность и монолитность древней латыни. Это двуязычие задерживало развитие итальянского языка.

Флорентинец Арриго Дисетти писал в 1192 году латинские стихи. Богословы, историки и законоведы продолжали писать по-латыни (и сами Данте, Боккаччо и Петрарка пользовались этим языком).

В конце XII и в начале XIII веков на севере Италии и в Сицилии появились поэты различных национальностей, которые писали стихи в подражание французским трубадурам (особенно известен в этом отношении двор Фридриха II). Эти поэты воспевали рыцарство, пиры, любовь и веселое времяпрепровождение, путешествовали между Пиренеями и Апенниннами. Из этих трубадуров в истории литературы часто упоминают Пьетро Фидали, Фаидита, Иоанна д'Альбусона и др. Данте и Петрарка упоминают наиболее знаменитых из них Арнольда Даниельса, Фолькелта Марсельса, Джоффри Рудельса и других. В одно время книжные люди и аристократия Италии восхищались корифеями провансальской поэзии.

У трубадуров появились подражатели, но они писали не на латинском, а также не на народных диалектах, считая крестьянские разговоры недостойными мотивов трубадурской поэзии. Вскоре и итальянцы начали писать по-провансальски. На этом языке писали в начале XIII века Робертано Буваллели, маркиз Альберто Маласпина, Бонифаций Кальво, Лангфранко Чигалу, Бартоломео Дзордзи и Мантуело Сорделло.

Ясно, что на чужом языке никто не создавал мировых шедевров. Кроме того, эпигонская литература обречена заранее, поэтому писавшие на провансальском языке итальянцы не оказали какого-либо влияния на поэзию, этот провансальский поток остался бы без всяких последствий, если бы итальянские трубадуры не перешли на собственный «крестьянский» язык, и это движение на самом деле началось в Палермо, при дворе Фридриха II.



Известно, что предметом поэзии трубадуров были любовь, рыцарство, героизм. Потом нахлынула волна средневековых странствующих романов, и по всей Италии распространились героические стихи на темы из богатой жизни Карла Великого и Роланда. Также распространился в Италии полустихотворный роман Кретьен де Труа и цикл романов круглого стола, повесть о Тристане и Изольде, история короля Артура и др. Со странствующими французскими сюжетами распространился в Италии и французский язык.

В 1283 году Данте пишет на тосканском диалекте первый сонет своей «Вита нуова». Сочиняет диалоги на итальянском языке умбрийский поэт Джак-поно да Тоди (1306 г.). Основанная при дворе Фридриха II школа трубадуров создала жанр «канцоны», который Данте и Петрарка довели до виртуозности.

Отдельные имена поэтов-трубадуров почти ничего не говорят истории литературы, но они сыграли большую роль в закладывании основы итальянской поэзии. Главными из них были Фолько Руффи, да Пиза и др.¹ В последующем любовную поэзию Арриго Песта д'Ареццо, Джакомо Мостачи обогатил Гвидо Гвиничелли. Самой теме любви Гвиничелли придал человеческий характер и аромат. Сам Данте упоминает Гвиничелли как «отца сладкозвучных поэтов». И действительно, в итальянской поэзии Гвиничелли считается основоположником школы «Дольче стиль нуово».

В итальянской поэзии Данте встретил задачу, стоявшую перед всяким великим поэтом, который выводил ту или иную поэзию на столбовую дорожку самостоятельной и большой литературы. С одной стороны, это было утверждение итальянского языка, поднятие его на высокую ступень, освобождение его от влияния латинского, французского и провансальского языков и существующей на этих языках поэзии. Для этого великого дела возрождения национальной поэзии нужны были именно такой огромный талант и авторитет, которыми обладал Данте.

Так что Ренессанс, Возрождение, нужны были, согласно миропониманию Данте, итальянскому государству, церкви, в сферах языка, литературы, политики. Во всех этих областях великий флорентинец проявил строжайший стоицизм.

Обремененный такими высокими и великими идеями Данте имел право бросить своему народу клич: «Приобщайтесь к новой жизни!».

В «Вита нуова» магической силой обновления, возрождения представлена любовь. Глашатаю этой обновленной жизни нужен был новый, сладкий стиль, который Данте поднял на уровень высшей виртуозности. Если Иоахим дел Фиоре желал внутренней реформации человека, Данте пожелал обновления, реформации всей религии, церкви. Ученики Иоахима лелеяли «Дукс нуовас», который упоминается как в «Вита нуова», так и в «Божественной комедии». Комментатор Данте, его же сын Пиетро Алигиери дает нам ключ к творчеству Данте.

Охваченный пророческим пафосом, Данте призывает человечество к обновлению. А для этого необходимым условием является самоочищение и самообновление отдельного человека. Ясно, что нашим современникам чужды его апокалиптические видения с показом «последних предметов», желание вновь обрести земной рай, вновь обрести примитивное душевное спокойствие и вернуть золотую эру, которую некогда воспевали корифеи античной поэзии. Он верил в звезду фениксообразно обновляемого вечно молодого Рима. Микены, Спарта, Фивы погибли, но Рим Дардана воспрянет вновь — так верили античные поэты.

¹ Ср. Анри Овет, «Итальянская литература».

Данте был великим знаменосцем культуры Италии, ее поэзии, и поэтому посеянные им семена взошли и принялись, и за итальянским Ренессансом действительно последовало возрождение итальянского языка и поэзии.

Его творчество было вершиной всей западноевропейской средневековой культуры и могучим началом культуры Возрождения. Недаром Энгельс назвал его последним поэтом средневековья и первым поэтом нового времени. Как великий гуманист, Данте в ярких художественных красках и скульптурно высеченных образах пригвоздил к позорному столбу социальные пороки своего века и воспел благородные, возвышенные идеалы, призывающие человечество к добру и миру, к нравственному самоусовершенствованию.

Перевод с грузинского П. Шария

Очерки

Владимир ИМЕДАШВИЛИ

День за днем

Эшера — это Эшера. И в то же время Эшера — это Сухуми. Здесь нет противоречия. О независимости этого географического понятия достаточно красноречиво свидетельствует хотя бы самый факт существования на карте такого названия. Но между селом и городом по существу нет границы, автобус здесь ходит обыкновенный, с маршрутным номером, и есть кондуктор, привычно называющий остановки: «Рыбзавод», «Школа», «Учхоз». Хотя в этом нет никакой надобности, потому что народ в автобусе преимущественно местный, ездит этим путем ежедневно, прекрасно ориентируется сам.

Машина мягко бежит по асфальту, потом дорога становится хуже, покрышки глухо и дробно пересчитывают мелкие застывшие гудроновые волны, наконец недовольное подвывание мотора знаменует начало растерзанного проселка, и снова асфальт... Мне начинает надоедать эта смена повторяющихся впечатлений, я сочувственно думаю о том, каково Кетеване Ильиничне, — ведь ей, наверно, часто приходится ездить этой дорогой.

Кетевана Ильинична Джоджуа — заведующая Эшерским сельским врачебным участком. В Министерстве здравоохранения Абхазии ее рекомендовали как одного из лучших сельских врачей области. Она меня ждет.

Автобус катит среди невысоких пятнистых холмов. Холмы — черные, пятна — снег. Тепло. Воздух пахнет мокрой землей и близким невидимым морем. «Поворот... Маяк... По требованию...» — это произносит свои заклинания кондукторша. Я начинаю бояться, что проеду остановку.

— Скажите, скоро врачебный участок?

— Что? — пожилая абхазка поворачивает ко мне красивую ястребиную голову.

— Эшерский сельский врачебный участок, — уточняю я.

Она размышляет.

— А-а, детская больница?

— Нет...

Старик в шинели говорит по-грузински с армянским акцентом:

— Ему, наверно, нужно это... где зубы лечат.

Я высокого мнения о нашей системе медицинского обслуживания населения, но это все-таки слишком много для одного села...

— Мне нужна Джоджуа. Кетевана Ильинична Джоджуа.

Общее ликование.

— Так бы и сказали!

Этот маленький эпизод не придуман, все было именно так, как я рассказал, и дело здесь совсем не в том, что Кетевану Ильиничну знал почти весь автобус, — ничего удивительного для села в этом нет. Но каждый видел в Эшерском сельском врачебном участке именно то, что подсказывало ему чувство благодарности: избавленный от зубной боли — стоматологическую поликлинику, мать спасенного ребенка — детскую больницу. Согласитесь: великолепный комплимент врачу и возглавляемому им лечебному учреждению!

Есть профессии, незаслуженно «обиженные», точнее — «обижаемые» всеми теми, у кого другая профессия. Подумайте. Все некосмонавты видят в космонавтах мужество, мастерство, презрение к опасности и... Все непоэты видят в поэтах способность тонко чувствовать, изящно рифмовать и... Все неврачи видят во врачах самоотверженную преданность делу, готовность помочь и... Что за этим «и»? В большинстве случаев большинство людей не видит за ним ничего, и это, честное слово, несправедливо — замечать только то, что лежит на поверхности, само о себе заявляет, слишком очевидно, чтобы не быть замеченным. Получается:

летчик летает, бухгалтер считает, врач лечит, учитель учит... Риска быть обвиненным в банальности, скажу все-таки: и тот, и другой, и третий, и четвертый кроме того (и прежде всего) еще и люди. А взаимодействие, если можно так выразиться, человека с его профессией — сложный процесс. Как часто мы слышим: «Ах, если бы в свое время я выбрал другую профессию...» Как искренно завидую тем, кто не раскаивается в сделанном когда-то выборе.

Мы любим врачей, и мы их не любим. Разумеется, мы полны глубокого уважения к высокой миссии врача. Но когда мне вытаскивают больной зуб или вправляют вывихнутую руку, в эту минуту, простите, я не могу любить того невольного мучителя, в эту минуту я его даже ненавижу. А если медицина оказалась бессильной и человека не стало — что тогда? Представьте себя на месте врача, молча стоящего перед ослепленными горем близкими умершего... Летчик летает, бухгалтер считает, врач лечит... Забывать о тягостном долге врача всю жизнь, изо дня в день соприкасаться с болью, муками, страданием — тоже значит «обкрадывать» его профессию, и мы не вправе это делать.

Вот о чем думал я, слушая негромкий глубокий голос Кетеваны Ильиничны и глядя на нее.

Широкое мягкое лицо уже немолодой женщины. Гладкое лицо, без морщин, словно жизнь не тронула его. На первый взгляд — лицо человека, который жил легко и бездумно. Однако в глазах — сосредоточенность, вдумчивая зоркость, порою усталость. И это меняет все.

Я позавидовал Кетеване Ильиничне — было ясно, что ей и в голову не приходило сакраментальное «ах, если бы в свое время я выбрала другую профессию!»

Я не верю рассказам о людях, которые уже в детстве нашли свое призвание, точнее, убежден: это случается очень редко. Обычно же все происходит много прозаичнее — или, в силу обстоятельств, жизнь берет свое, или так называемое призвание заявляет о себе в неожиданных, порою наивных формах.

Моя знакомая Донато Гомарели, молодой эпидемиолог из Боржомы, стала медиком в значительной степени под влиянием семейных традиций — отец и мать ее тоже врачи.

Мой друг Резо Кения, хирург и научный работник, был тренером по плаванию.

Кетевана Ильинична выросла в семье бухгалтера, и единственным фактором, который мог склонить ее к медицине, была любимая шутка отца:

— Вырастешь — стань, пожалуйста, зубным врачом. Тогда я наконец приведу в порядок свои челюсти.

А потом девочка Кетевана заявила, что хочет ходить в белом халате, и это было, конечно, смешно. А потом — ей еще не было семнадцати, — посланная на практику акушеркой в родильное отделение Батумской больницы, спасла жизнь одной из рожениц. Ее температура снизилась, и девочка из медицинского техникума высказала предположение, которое оказалось верным.

Окончила техникум, работала, готовилась к поступлению в мединститут (в то время техникум не давал аттестата зрелости, а Кетевана окончила семь классов школы).

В сорок третьем — диплом врача и назначение в село Пахулани Цаленджикского района. Время военное, село бедное. Свирепствует малярия. Всеобщие раздолье болезням. А Кетевана неопытна, крестьяне же по природе своей недоверчивы, словам они не верят, бумажкам тоже... На третий день пришлось ехать в горы к больному. «Ехать» — это сегодня легко сказать. Кетевана садится на лошадь (как бы скрыть от людей, что ни разу в жизни не ездил верхом?). Добралась.

Больной мечется в жару. Близкие говорят:

— Конечно, проклятая малярия! Так и старый доктор сказал.

Но врач, работавший здесь прежде, ошибся. У больного оказался брюшной тиф, причём протекал уже второй период болезни — об этом поведала сыпь, появляющаяся в таких случаях на двенадцатый день. Вновь, с самого начала работы, проявляется одно из главных (и, как известно, ценнейших) качеств молодого медика — умение правильно ставить диагноз, и это уже весомое свидетельство того, что призвание не обмануло Кетевану Джоджуа, что она действительно родилась врачом. Пройдут годы, и каждый из них станет своеобразной копилкой такого рода фактов: а разве не самый убедительный способ рассказать о трудовом пути человека вот так — вехами все новых подтверждений: характер, натура, способности соответствуют избранной профессии.

Два с половиной года в Пахулани. Два с половиной года любви, доверия, признательности людей, и все это завоевано уже в тот первый день, когда был поставлен первый правильный диагноз. Потом — Новый Афон, санаторий «Приморский». Кетевана Джоджуа работает там главным врачом. Какой из молодых медиков не мечтает о таком назначении! Жизнь, как говорится, курортная — в буквальном смысле, работа, что называется, не пыльная. Но она уходит, уходит сама, и здесь опять сказывается верность призванию врача —

так, как понимает его Кетевана Ильинична Джоджуа.

Ей хотелось именно «пыльной» работы. Мне она так объяснила свое тогдашнее решение:

— Работая в санатории, ничему не научишься, скорее — растеряешь знания. Все сводится к разного рода назначениям — солнечные ванны, морские ванны и так далее. А мне хотелось стать настоящим врачом.

Она так и сказала — резковато, не забывая о том, что невольно обижает представителей этого, безусловно, нужного и очень много дающего людям племени медиков, работающих в санаториях. Однако в ее непреложности я увидел все ту же бескомпромиссность представлений о долге и назначении врача, и потому постарался точно передать слова Кетеваны Ильиничны.

Врач должен лечить. Он обязан быть готовым выполнить свою миссию днем и ночью, независимо от погоды, расстояния, любых других обстоятельств... Таково профессиональное и человеческое кредо Кетеваны Джоджуа, и, верно, теперь читатель ждет красочных эпизодов, ярких примеров, убедительных подтверждений, — словом, ждет иллюстраций к этому «днем и ночью, независимо от погоды и расстояния...» Что ж, будет и это.

Однажды в воскресенье я позвонил домой к приятелю-врачу просто так, поболтать.

— Чем занят? — спросил я.

— Столярничая... Впрочем, и немного слесарничая в то же время.

— Хобби? — удивился я, не знавший до сих пор за ним такого.

— Нет! — засмеялся он чуть смущенно. — Есть у нас одна идея... такой аппарат — переливание крови и еще кое-что...

Как-то я повстречался с очень уважаемым человеком — Шалвой Козьмановичем Махарадзе, крупным кардиологом, специалистом по сердечной хирургии, и узнал, что на днях он уезжает в довольно длительное путешествие по ряду районов Грузии.

— Наконец, в отпуск? — поинтересовался я.

Он отрицательно покачал головой:

— Будем изучать природу возникновения пороков сердца в зависимости от климатических условий, географии... ну, и так далее.

И этот человек, ученый, хирург, специальностью которого были операции на сердце, вдруг предстал передо мной в новом свете — с расторопностью, четкостью, требовательностью подлинного организатора, если хотите — профессионального хозяйственника, он отдавал распоряжения по подготовке экспедиции, вникая в каждую мелочь, чтобы ничего не было забыто или упущено.

Думается, ясно, о чем речь. Врач лечит, но он не только лечит. Точнее он всегда лечит (в широком смысле слова), однако делает это не в одном лишь кабинете и не у одной лишь постели больного.

Немногом меньше двадцати лет назад Кетевана Ильинична Джоджуа оставила работу в санатории и переехала в Эшера. Тогда руководимое ею медицинское учреждение обслуживало в общей сложности около двух тысяч человек. Сейчас — больше пяти тысяч. Это значит: четыре населенных пункта (почти девятьсот дворов), два крупных колхоза, три отделения Эшерского уезда, санаторий «Эшера», Дом отдыха «Гумиста»... Вновь, как некогда в Пахулиани, молодому врачу пришлось столкнуться с трудностями. Но время уже было иное — Кетевана Джоджуа и ее коллеги располагали арсеналом новых средств в борьбе с болезнями и постарались использовать их до конца. Сейчас она с улыбкой говорит:

— Меня тогда прозвали «главнокомандующим», и это была не совсем шутка...

Малярия — это, как известно, комары, а комары — это болото, а болот в окрестностях Эшера было столько, что воевать с ними пришлось по всем правилам военного искусства.

Развернулись бонификационные работы. Действиями бонификаторов — истребителей комаров — Кетевана Ильинична руководила лично. Каждое утро — короткое совещание: распределение участков, где предстояло провести в этот день опрыскивание, инструктаж и — в бой. Тогда ее и прозвали «главнокомандующим», и это было своеобразным воплощением приведенной выше идеи: врач лечит не только в своем кабинете, не только у постели больного.

Сегодня от тех — без преувеличения! — героических дней остались диаграммы на стене кабинета заведующей Эшерским сельским врачебным участком.

1946 год — 103 случая заболевания малярией.

1947 — 96 случаев...

А с 1958 года по сей день — ни одного! Причем фактически малярия в Эшера была побеждена уже в пятьдесят пятом, и только предельная добросовестность заставила Кетевану Ильиничну учесть в диаграмме два последних случая в пятьдесят седьмом году, хотя болели приехавшие издалека отдыхающие, и это был, несомненно, рецидив, это была, так сказать, привозная, не эшерского происхождения, малярия.

Не хочется повторять стертые фразы о том, что всему этому предшествовал громадный, упорнейший, кропотливый



ший труд. Но ведь все было именно так! Мало того: в своей непримиримости к болезням, последовательно борясь с ними, Кетевана Ильинична всегда была непримирима и к людям, которые по лени своей или от непонимания невольно мешали в этой борьбе. Дело, как говорится, прошлое, и «кто старое помянет...». Поэтому скажу лишь: именно благодаря упрямой настойчивости заведующей врачевным участком сельсовет значительно улучшил санитарные условия в Эшера, а что это значит — ясно каждому жителю сельской местности.

Но я ловлю себя на том, что, увлекшись «защитой» профессии медика, сам говорю о Кетеване Ильиничне несколько односторонне: труд и труд, постоянное, изо дня в день, общение с темными, мрачными сторонами жизни, только болезни, только страдание... Не потому ли, что многие видят в работе врача лишь это, и столь распространено удивленно-растерянное: «Как они могут после этого смеяться, шутить? Я бы, наверное, с ума сошел!»?

Лидия Никифоровна Стура, гинеколог, отдавший медицине тридцать три года, придя домой после суточного дежурства, после многочасовой борьбы за жизнь роженицы, оказалась обаятельной хозяйкой и пела за столом романсы, пела отлично, с чувством, словно не было этого бессонной ночи и напряженной схватки со смертью. Когда же я спросил, как она это может после всего пережитого, женщина сказала просто:

— Она будет жить, и ребенок тоже спасен.

Георгий Иосифович Гомарели, хирург с тридцатилетним стажем (отец той Донато Гомарели, о которой я упоминал выше), видевший на своем веку столько крови, сколько не видел, наверно, старый солдат, — весельчак и душа любого общества, куда он попадает.

Как он может?

Но я знаю, например, что однажды (и подобное бывало тысячу раз) ему повстречался на улице человек, бросился навстречу и зволнованно закричал:

— Доктор, здравствуйте, доктор, как я рад вас видеть! Вы ведь меня узнаете?

— Конечно, дорогой, — сказал на всякий случай Георгий Иосифович, — я вас узнаю. Вашу руку!

— Нет, доктор, — возразил человек, — это не моя — ваша рука. Я потом узнал, ее должны были ампутировать, а вы — спасли...

Легчик летает, учитель учит, бухгалтер считает, врач лечит... Нужны они все, но — пусть никто не будет обижен — никому кроме врача не дано испытать такого удовлетворения от сознания хорошо выполненной работы.

Кетевана Ильинична Джоджуа хранит

несколько толстых тетрадей, исписанных от первой до последней страницы переплетенных бережно и аккуратно.

«Я, Киреева Лидия, поступила в больницу в очень тяжелом состоянии и думала, что останусь калекой, но благодаря хорошему врачу К. И. и медсестрам-нянечкам...»

«Я, Куликова С. А., приехала отдыхать из Москвы с 3-летним сыном... воспаление легких... трое суток борьбы за жизнь... Врач Кетевана Ильинична спасла ребенка. Спасибо матери...»

«Пишет это рабочая III отделения Эшерского учхоза М. Смирнова: «Сейте разумное, доброе, вечное...»

На этих трогательно-наивных строчках хочется закончить перечень благодарных, полных трепетной искренности записей. Таких — множество. Я читал их и думал: вероятно, здесь секрет того, что с первых минут поразило меня в лице Кетеваны Ильиничны. Помните? Гладкое, без морщин, почти безмятежное, словно женщина прожила бездумную легкую жизнь. Читая эти записи, я узнал, что эшерцы построили и подарили любимому врачу дом, в котором она живет, и понял: на лице написан тот душевный покой, что приходит к человеку, когда он в ладах с собой, когда, прощаясь, не стыдится вчерашнего дня.

Такова бесценная компенсация за бесконечную тяжесть профессии, и врач ее достоин.

А теперь — два небольших эпизода пресловутого «романтического» характера. Ведь упустить эту сторону дела значит тоже «обокрасть» профессию. сузить ее смысл, круг радостей, которые она приносит, и трудностей, которых не избежать.

...Пришлось пройти пешком десяток километров по снегу, в ночь, в ветер, чтобы убедиться: корь принесла годовалому малышу осложнение — двустороннее воспаление легких. Кетевана Ильинична не спит ночь, не спит другую, но дело все-таки не в этом. Дело в том, что ребенок — слаб, рахитичен, а новейшие средства — палка о двух концах, они могут привести к шоку, и возможные последствия слишком очевидны... Врач решает, врач берет на себя ответственность.

Ребенка выписали через две недели.

... Случилось и так, что роженицу слишком поздно повели в больницу. Роды начались на улице, и опять была зима, и был снег, но Кетевана Ильинична успела, и если в первом случае она проявила профессиональное мужество, решившись на риск, то здесь было великодушное профессиональное мастерство, хотя результат, в сущности, был все тот же — спасенная жизнь.

О жизни можно сказать по-разному.

Жизнь-подвиг, жизнь-труд, жизнь-творчество. И — жизнь идет день за днем. Утро сменяется вечером, вечер — утром, и человек спит, ест, ходит, работает, разговаривает. Человек — ни один! — не может быть всегда врачом или бухгалтером, или воином, или шофером. Человеку необходимо все — и труд, и отдохновение, и бодрость, и усталость, и радость, и печаль.

Кетевана Ильинична Джоджуа — врач и коммунист, и депутат Гульришского райсовета, и организатор, и общественная заведующая сельской библио-

текой, и к ней приходят посоветоваться, как поладить с взбалмошной женой и как справиться с непутевым мужем.

И прощаясь, она говорит мне доверчиво и очень искренно:

— Я здесь одна — в обычном смысле, без близких и родственников... Но мне хорошо, вы не подумайте! Я знаю: меня любят, и потому все вокруг — свои. И все-таки...

Что ж, это «все-таки» — тоже жизнь, когда вечер сменяется утром, и день идет за днем, и так проходят годы.

Мирозерцание Руставели

Если, говоря о великом художнике слова, независимо от того, поэт он или писатель в широком смысле, можно ставить вопрос об отношении его мышления и творчества, то касательно некоторых из них, занимающих определенное место в истории развития человеческого мышления, требуется особо ставить вопрос как о мыслителе. Новое время давно освоилось с понятием философских поэм и с признанием за их авторы, такими, например, как Данте, Мильтон, Геге, Шиллер и другие — на Западе, Фирдоуси, Алишер Навои и другие — на Востоке, звания «мыслителя».

То же самое касается и великого грузинского поэта Руставели, автора поэмы «Витязь в тигровой шкуре», восьмисотлетие которого будет праздновать 25 сентября текущего 1966 года все цивилизованное человечество.

Получив высшее образование в Грузии, где для этого в XII веке имелись все возможности ввиду существования нескольких академий, Руставели, как это видно из его поэмы, был хорошо знаком с восточным — индо-ирано-арабским — миром, с одной стороны, и греческим на Западе — с другой. Существование высших философско-риторических центров в Грузии, начало которых положено еще основанием в IV в. н. э. высшей риторической школы в Колкиде — в Западной Грузии — и до Гелатской академии XII века, указывает на более ранний характер культурной связи с Западом — с греками. Но в поэме Руставели равным образом указано и на культурную связь с Индией, Ираном и арабским миром.

Однако это была не только литературно-книжная связь с упоминанием поэтов и мыслителей, например, арабского поэта IV века Эзры, с указанием и названием его сочинения («Диванос»), с ссылками на автора любовного романа «Висс и Рамин» и других на Востоке, или же с упоминанием греческих философов — Платона, Аристотеля и других, или ссылками на отдельные учения тех или иных греческих философов — например, Анаксагора, Эмпедокла, Аристотеля.

Все это базировалось на знании жизни, хозяйственного уклада, торговых путей, денежного обращения указанного восточно-западного мира. Это создавало не только базу для идеологических связей с восточно-западным миром, но и давало канву для поэтического творчества. В самом деле, сюжетная канва «Витязя в тигровой шкуре» охватывает мир от Аравии до Индии, включая Иран (Персию) и побережье Средиземного моря на Западе, Египетское побережье до итальянской Ривьеры; не оставлен без включения в тогдашний (XII в.) мир и Север с конкретным указанием на русских среди больших и культурных народов XII века.

Таковы исторические рамки творчества и мышления Руставели, где действующие лица поэмы целиком относятся к Индии, Персии и Аравии, а философия включена в сферу определенного мирозерцания, представляющего собой наследие философской античности в том виде, в каком она была разработана на основе переработки Платона и Аристотеля, в качестве идеологии поздней античности (V в.).

Для установления характера связи между творчеством и мышлением Руставели важно установить, что Руставели — гений грузинского народа, нигде прямо не говорит о грузинах, исключая только указания на грузинскую речь («картули»), как средство выражения интимных излияний (в частности, любви). Зато в поэтике своей поэмы Руставели прямо указывает на ее сокровенный, инносказательный характер.

Указывая на то, что предмет его воспеваний — грузинская царица Тамар, Руставели заявляет:

31. Ниже вновь ее я песней славословлю
сокровенно.

Это с самого же начала определило характер творчества и мышления Руставели. Это — показ действительности через тайну, реализма через мистицизм, безусловного через условное, своего (грузинского) через иноземное. Таков узел творчества и мышления Руставели и, понятно, что тот, кто вознамерится познать его творчество, должен исходить

из его мышления, и наоборот, направляясь к постижению его мышления, исходить из его творчества.

Уже такая постановка вопроса делает загадочной творчество и мышление Руставели. В его мышление с самого же начала проникли элементы мирозерцания, построенного на противоположностях, преодоление которых требовало внутреннее постижение единства этой противоположности. И когда античное философское наследство встало перед задачей примирения противоположностей платоновского идеализма с материализмом Аристотеля и не решалось встать на путь бесконечности, зияющей на преодолении противоречия конечного, история философии предоставила слово грузинскому мыслителю V века (411—491) Петру Иверу, в лице которого советская наука раскрыла автора так называемых ареопагитских книг Псевдо-Дионисия.

Требовалось выйти за пределы противоречия, чего не сумела античная философия в лице своего последнего представителя Прокла (410—485). Наука установила, что этот шаг был сделан Петром Ивером (из ранних — Целлер, из новейших — Грунджиз).

Требовалось преодолеть противоположность добра — не добра как сверхдобра (по гречески — «юперагатос»), что базировалось на вечности (бесконечности) добра и кратковременности зла. В торжественном аккорде развязывания сюжетного узла, с приходом к вечному счастью своих героев, Руставели, прямо называя своего великого учителя — Петра Ивера (Дивноса — Дионисия), пишет:

1494. Мудрый Дивнос открывает дела тайного истока:
Лишь добро являет миру, а не зло рождает бог.
Злу отводит он мгновенье, а добру безгранный срок,
Ввысь подъяв его истоки, где нетленности порог.

Но чтобы прийти к такому совершенству, надо пройти путь страдания, полный противоречий, что приводит снова к концу жизни, по поводу которой Руставели пишет.

1665. Кто б назвать решился вечной жизнь — мгновение земное?!

Так продолжается круговращенье жизни.

Руставели, разумеется, знал писания Петра Ивера (Псевдо-Дионисия) и в греческом оригинале, но на грузинском языке уже в XI веке осуществлен первый их подлинный перевод в мировой литературе, а в XI—XII веках грузинский философ Иоанн Петрици в своем сочинении «Рассмотрение платоновской

философии» возродил на грузинском языке учение Петра Ивера, творчески воспроизведенное в XII веке в поэме Руставели.

Таким образом, в лице греческих мыслителей — Платона, Аристотеля и других — Руставели «сокровенно» возмечтал грузинских философов — Иоанна Петрици и особенно Петра Ивера (Псевдо-Дионисия), как знаменосцев раннего Ренессанса (XII века), положив в основу принцип «обожествления человека» (по-гречески «тиозис»).

Это было новое гуманистическое учение о возвышении человека, заменившее собой старое учение античной философии о «человеке, как мере вещей». Мера вещей уступила свое место богу, как мере или «границе мирской» человека. Высшее добро должно быть распределено между людьми согласно их «способности его вмещения».

Руставели пишет:

954. Не равны друг другу люди, бог меж ними грань мирская.

Стремление к высшей грани «сверхдобра», указанного здесь, это — гуманистический предел возвышения человека, как гуманистическое содержание Ренессанса. Оно было идеологическим венцом поздней античности, пронесенным через все средневековье до раннего восточного Ренессанса, художественно олицетворенного в поэме Руставели, как на это указывает великий художник и несравненный эрудит — русский писатель Алексей Толстой («Литературная Грузия» № 6, 1965).

«Сокровенное славословие» — принцип как мышления, так и творчества Руставели. На протяжении всего возрождения гуманистической философии, унаследованной от античности, присутствие Грузии чувствуется, но она нигде не названа. То же самое происходит на путях творчества.

Для осуществления задачи творческого показа Руставели использует загадочность мистически-творческого постижения. Он избирает из всех персонажей этой сферы Автандила, сдруженного с ним через мудрость, и ему поручает дать ренессансное обрамление всему в виде гимна семи планетам.

После разлуки с Тариелем, на пути к третьему побратиму — Придуну, Руставели поручает своему идейному другу Автандилу спеть о распределении добра в мире, олицетворенном в семи небесных светилах. Это не больше, как отражение добра между людьми, где мерилом совершенства является бог, как высшее добро и причина.

Распределение людей по ступеням совершенства сменяется распределением по народам, пришедшим слушать дивную песнь Автандила, в которой слы-



шен отзвук восточного Ренессанса; как пишет А. Толстой — «Восток указал странам Запада в сторону Ренессанса».

...Отмечая космически-универсальное значение «сокровенного» гимна семи планетам, Руставели пишет:

970. И пришли пред ним склониться
тварей мира вереницы:

Инды, греки и арабы с двух сторон
из-за границы.
Персы, русские и франки и египтяне
и мисрийцы.

Руставели, гениально предвидя недостаточность ступени понимания кой-кого в последующих поколениях, сам не упомянул о Грузии, как центре восточного Ренессанса. Здесь применен тот же метод «сокровенного славословия», который мог создать повод для сомнения.

В связи с этим Руставели писал о своей поэме:

90. Этот дивный сказ, что ныне переделан
в песнопенья,

Я нашел, и спев стихами, создал повод
для сомненья.

Ясно, что «повод для сомненья» — это «сокровенное славословие», где предмет воспевания превозносится не прямо, а окольным, негативным путем. Грузия не упоминается у Руставели при «сокровенном славословии», но она тут же — в центре народов от Востока на Запад. И нельзя не удивиться еще и еще раз проникновенности русского писателя Алексея Толстого, который писал: «Грузинский Ренессанс составлял часть Ренессанса на Востоке, но Грузия занимала здесь центральное место».

Средство поэтического выражения Руставели и песнь о героизме, любви, дружбе и борьбе за счастье человека «убедили меня, — пишет тот же А. Толстой, — что так мог петь только великий мастер зари великого Ренессанса».

Изучение этой стороны мировоззрения Руставели дает повод А. Толстому заявить, что «выявление подлинного лица такого памятника, как поэма Руставели, дает точную фактическую базу для научного изучения восточного Ренессанса». Помимо сказанного, мирозерцание Руставели содержит сложные философские проблемы, которые вскользь упоминались выше и одной из которых нельзя не коснуться в заключение.

По мере того, как Западная Европа

знакомится с поэмой Руставели, благодаря даря новым переводам, там его сравнивают с итальянским гением Данте. Тут особенно характерно мнение французского литератора Рене Лякота и других, послужившее основой для приговора новейшему французскому переводу Руставели премии Французской академии, а именно, что история дала Грузии своего Данте более чем на столет раньше, когда французская литература находилась в стадии Кретьена де Труа. Тяга к такому сравнению объясняется тем, что в основе мировоззренческих идей Руставели и Данте лежат ареопагитские идеи, но с разных сторон.

Данте стоял по преимуществу на иерархическом понимании мира, на основе которого человек возвышался к высшему свету как к бесконечному добру. Это было толкование идей Петра Ивера (Псевдо-Дионисия), данное на Западе Иоанном Скот Эриугеной в книге «О делении природы» (IX в.).

Руставели стоял в основном на точке зрения возвышения человека до того же высшего добра, но не по ступеням восхождения к совершенству, а в порядке преодоления предельного беспредельным, как пути к сверхдобру. Об этом Руставели писал от имени Автандила:

792. Кто родил меня и дал мне над
врагами торжество,

Кто пределом беспредельным обесмертил божество,
Тот мгновенно претворяет сто в одно,
одно же в сто.

Это базировалось на толковании учения Петра Ивера (Псевдо-Дионисия) грузинским философом XI—XII веков Иоанном Петрици. В этом же духе Руставели поэтически доработал идею восхождения к высшему свету путем преодоления противоположности света и тьмы.

Возлюбленная Тариеля Нестан-Дареджан пишет из своего заключения:

1306. Умоляй творца, чтоб выход дал из
мрачной мне темницы,

Чтоб туда взнеслись на крыльях,
где мечты моей зеницы,
Созерцали б днем и ночью солнце
вечного зарницы.

Так Руставели на столетие раньше Данте, базируясь на идее грузинского мыслителя Петра Ивера, пришел к идее возвышения человека до вечного света (по-итальянски к «луче этерна»).

Неизвестный портрет Руставели

Работая над библиографическими материалами, я обнаружила в подекадной краевой газете «На рубеже Востока» в номере от 1 июня 1935 года заметку, в которой говорилось, что житель села Квемо-Мачхаани¹ Сигнахского района Александр Саралидзе через Илью Курхули передал в дар Музею искусств Грузии портрет Шота Руставели, исполненный маслом. По утверждению Александра Саралидзе, этот портрет сорок лет тому назад был подарен его отцу художником Нико Пиросманашвили как его собственная работа. Но, — заключала газета, — художники-искусствоведы, познакомившись с портретом, считают, что он не принадлежит кисти Пиросманашвили. Заметка предельно меня заинтересовала. В фондах Государственного Музея искусств Грузии, где хранятся работы Пиросманашвили, не числится вышеназванный портрет. И тогда я решила разыскать его следы.

В 1935 году Музей искусств «Метехи» только был основан, и опись фондов, переданных музею различными организациями, была еще не завершена; главной задачей в то время было собрать и закупить различные произведения искусства. Поэтому, естественно, я обратилась к инвентарной книге Грузинской национальной галереи. Оказалось, что под номером четвертым с конца значится портрет Шота Руставели, переданный в дар галерее Глаха Егоровичем Саралидзе. Тут же сказано, что портрет написан маслом, размеры его 0,87×0,72 м. Автором портрета значится Н. Пиросманашвили, но тут же стоит вопросительный знак. Видимо, это сыграло свою роль: в инвентарной книге музея искусств «Метехи» вышеназванный портрет не значится. Ясно,

что галерея не передала его музею, очевидно, по той причине, что принадлежность портрета кисти Пиросманашвили ставилась под сомнение. А многочисленные работы малоизвестных художников не привлекали внимания искусствоведов. Так например, в фондах Государственного Музея искусств Грузии по сей день хранятся портреты великого поэта, относящиеся к 80-м годам прошлого века и выполненные маслом некими С. Габаевым и Тариэлашвили. Эти работы в основном повторяют образ Шота Руставели, столь распространенный в Грузии в XIX столетии.

Чтобы обнаружить дополнительные данные, я прежде всего обратилась к документам, сопутствующим любой картине, находящейся в музее, где обычно значится имя бывшего владельца. Оказалось, что есть документ, на одной стороне которого фиолетовыми чернилами самим Александром Саралидзе было написано обращение на имя Наркомпроса, датированное 25 января 1935 года, а на обратной стороне — воспоминания о Н. Пиросманашвили отца Александра, Глаха Егоровича Саралидзе, помеченные 30 января 1935 года. В своем обращении Александр Саралидзе отмечает, что в беседе с Ильей Курхули о Нико Пиросманашвили он однажды показал Курхули портрет Шота Руставели, принадлежащий кисти великого самоучки. Этот портрет Нико подарил его отцу, Глаха Саралидзе, 40 лет назад, когда Нико держал на базаре молочную лавку. «Курхули просил меня передать портрет в дар Музею искусств Грузии, — пишет Ал. Саралидзе. — Мой брат Закро повез портрет в Тбилиси в тот период, когда очень силен был интерес к творчеству Пиросманашвили; он хотел передать работу Павле Сакварелидзе (дяде В. Гуняя), но так как Павле Сакварелидзе в то время в Тбилиси не оказалось, то Закро вернулся с портретом домой», — заключает

¹ Здесь Квемо-Мачхаани указано по ошибке. В действительности А. Саралидзе был из села Мирзаани.

Ал. Саралидзе. Как следует из письма, после длительной беседы Ал. Саралидзе передал портрет Илья Курхули с условием, что последний передаст его музею абсолютно безвозмездно.

Документами подтверждается, что Илья Курхули отнес портрет Руставели с письмом Ал. Саралидзе сначала в Наркомпрос. На письме красными чернилами была наложена резолюция от 1 февраля 1935 года, подписанная В. Бокучава. Резолюция подтверждает, что тогда же возникло сомнение, действительно ли портрет принадлежит кисти Пиросманашвили. В резолюции читаем: «Согласно просьбе Саралидзе передать портрет Музею. Просить Музей проверить, кто является автором портрета».

Как выясняется дальше, после этого Курхули передал портрет художнику Давиду Какабадзе, предварительно сделав два фотоснимка, которые ныне являются собственностью сына Илья Курхули — Автандила, который любезно предоставил нам снимки для ознакомления. На одном из них запечатлен Глаха Саралидзе с портретом Руставели в руках, а на другом — сам портрет поэта. На обратной стороне последнего, по просьбе Илья Курхули, Ладо Гудиашвили, присутствовавший при передаче портрета Давиду Какабадзе, написал: «Оригинал этого фотопортрета, выполненный маслом, вместе с сопроводительным письмом был вручен бродячему музыканту Илье Курхули крестьянином села Мирзаани Глахой Саралидзе для безвозмездной передачи Музею».

На моих глазах Илья Курхули передал портрет профессору Давиду Какабадзе, который обещал Курхули передать ему благодарственную бумагу от Музея, выданную на имя жертвователя».

Какая судьба постигла портрет впоследствии, абсолютно неизвестно. Но тем не менее с большим основанием можно утверждать, что портрет не принадлежит кисти Нико Пиросманашвили.

Скупая запись в инвентарной книге, утверждающей, что портрет выполнен маслом на холсте, уже достаточный повод не признавать полотно принадлежащим кисти Пиросманашвили, не говоря уже о фотографиях, со всей очевидностью свидетельствующих, что этот портрет, невзирая на его бесспорные художественные достоинства, не является произведением Нико Пиросманашвили.

Благородство, проявленное отцом и сыном Саралидзе, музыкантом Илей Курхули, в вышеописанных событиях, заслуживает одобрения и благодарности.

Обо всем этом, может, и не стоило бы говорить, если бы не произошел один интересный и значительный факт.

Как известно, Шота Руставели и его бессмертная поэма всегда вызывали большой интерес грузинских художни-

ков. Многие мастера делали попытки воссоздать образ поэта и героев «Витязя в тигровой шкуре». Естественно, что и Нико Пиросманашвили захватила эта тема. В сборнике, посвященном жизни художника, выпущенном Грузгосиздатом в 1926 году, названы девять работ, посвященных теме Руставели: три из них — «Шота Руставели преподносит в дар свою поэму царице Тамар», «Встреча Автандила и Тариэла» и «Автандил встречается с Тариэлом на берегу реки» — представляют иллюстрации к поэме, остальные же фактически повторяют один образ Шота с той лишь разницей, что на некоторых из них поэт изображен с царицей Тамар. Все названные работы когда-то украшали стены различных духанов и являлись собственностью их владельцев. По свидетельству Кирилла Зданевича, «духан «Дарданеллы» принадлежал известному своим хлебосольством «толстому» Ваню, стены духана были разрисованы картинами из поэмы Шота Руставели самим Нико Пиросманашвили». Так что, появление портрета, принадлежавшего Саралидзе, который утверждал, что картина принадлежит кисти Нико Пиросманашвили, никого не удивило; но как мы уже сказали выше, сам портрет не давал основания считать его творением Пиросманашвили. Очевидно, произошло следующее: когда составлялась инвентарная книга музея «Метехи», из фондов и инвентарных книг, переданных музею различными организациями, работники музея обратили внимание на то, что в инвентарной книге Грузинской национальной галереи рядом с указанием портрета, переданного в дар Глахе Саралидзе, стоит вопросительный знак. Вместе с тем, ведь никто не знал, что названный портрет исчез без следа; поэтому работники музея сочли таковым один из портретов Шота Руставели из того же фонда. Так и поступили; теперь в новой инвентарной книге числится совсем другой портрет Руставели и без всякого вопросительного знака. Но никто не обратил внимания на то обстоятельство, что последний совершенно отличен от портрета, подаренного музею Глахе Саралидзе, фотографии с которого были тогда уже известны.

В действительности, новый портрет Шота Руставели своим материалом и манерой исполнения не оставлял никаких сомнений, что он принадлежит кисти Нико Пиросманашвили. Из документов явствует, что вышеописанный портрет в числе других работ Пиросманашвили был извлечен работниками национальной галереи в 1919 году из ду-

¹ Этот «толстый» Ваню, видимо, тот самый «черный» Ваню, о котором пойдет речь ниже.

хана «черного» Ваню. Духан в то время находился у Дидубийского парома. Этот портрет отличается от всех известных портретов Руставели, созданных великим самоучкой. Своей композицией портрет напоминает образ великого поэта, столь популярный в Грузии в девятнадцатом столетии. Исполнен он маслом, на клеенке, в характерной для Пиросманашвили манере. Портрет не закончен, что свидетельствует о том, что это именно тот портрет Шота Руставели, который, как сообщала газета «Бахтриони» в своем интервью с художником Дмитрием Шеварднадзе, в последние годы жизни Нико видели у него дома на Молоканской улице.

Если принять за истину утверждение Глаха Саралидзе о том, что портрет, переданный им в дар музею, висел на стене в доме Пиросманашвили, то тогда остается предположить, что эта была работа неизвестного художника, заинтересовавшая Нико. Правда, нам неизвестно, каким образом портрет попал в дом Пиросманашвили, но сам факт существования его в доме художника-самоучки, как подтверждение проявленного к нему хозяйным интереса, по-новому освещает внутренний мир и творческие интересы Нико Пиросманашвили. Особенно примечательны воспоминания Глаха Егоровича Саралидзе, изложенные на обратной стороне сопроводительного письма, которое его сын отправил в Наркомпрос. Они, с одной стороны, подтверждают некоторые известные факты биографии художника, которые до сих пор были лишены достаточной достоверности, а с другой — выявляют

неизвестные до тех пор факты жизни Пиросманашвили.

Приводим текст воспоминаний полностью:

«Я, Глаха Егорович Саралидзе, житель села Мирзаани Сигнахского района, приблизительно сорок два года назад по своим личным делам часто наезжал в город Тбилиси. Я знал, что житель моего села и мой сосед Нико Асланович Пиросманашвили уехал из нашей деревни Мирзаани и жил в Тбилиси. По своему приезду в Тбилиси я нашел Нико, у него была на бывшем Солдатском базаре лавка молочных продуктов. Нико страшно обрадовался встрече. Увидев меня, он пригласил меня в свою комнату, там же, рядом с лавкой; тут же находилась и его рабочая мастерская. Я тогда впервые увидел его рисунки, удивился и спросил: когда ты научился так рисовать или кто тебя научил. Тот ответил: никто меня не учил и мастера у меня не было. Пригласил меня пообедать. Во время обеда и после долгого кутежа он снял со стены висевший там же у стола портрет Шота Руставели и сказал: это моя работа, возьми с собой в деревню и пусть будет тебе на память. После этого, как только я приезжал в Тбилиси, то проводывал своего друга и соседа Нико Пиросманашвили, смотрел, как он рисовал и работал. Подаренный им портрет Шота Руставели посылалю Грузинскому художественному музею — безвозмездно.

Глаха Егорович Саралидзе.

1935 год 30 января.»

Подписано к печати 23 мая 1966 г. 6 печ. листов. Формат бумаги 70X108:1/16.
Заказ № 1289 Тираж 1900 УД 08773

Цена 40 коп.

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются

ჟურნალი „ლიტერატურნაია გრუზია“ (რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის გამომცემლობა „ლიტერატურა და ხელოვნება“

Полиграфкомбинат издательства ЦК КП Грузии, Тбилиси, ул. Ленина № 14.



48.754.



ИНДЕКС
76117

Цена 40 к.